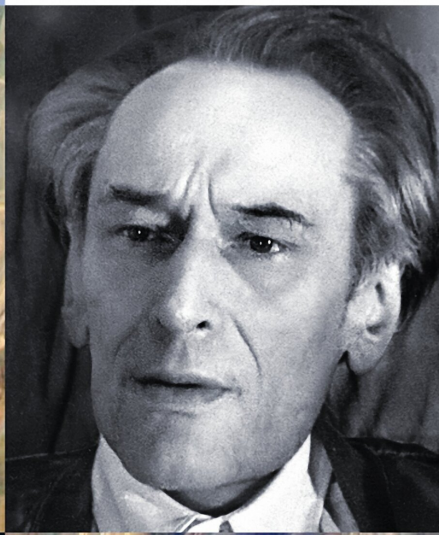
# ДАНИИЛ АНДРЕЕВ



Борис Романов

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

**Борис Николаевич Романов**

# Даниил Андреев

Серия «Жизнь замечательных людей (Молодая гвардия)»

*Текст предоставлен правообладателем*
*http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67608261*
*Даниил Андреев. Вестник другого дня: Молодая гвардия; М.; 2021*
*ISBN 978-5-235-04616-0*

## Аннотация

Судьба Даниила Леонидовича Андреева (1906–1959) – поэта и мыслителя, сына выдающегося русского писателя Леонида Андреева, вместила все трагические события отечественной истории первой половины XX века. Книга, издающаяся к 115-летию со дня рождения Даниила Андреева, основана на архиве поэта и его вдовы, воспоминаниях друзей и современников, письмах, протоколах допросов и других документальных источниках и воссоздает подробности его биографии, рассказывает об истоках его мироощущения, неотрывного от традиций русской и мировой культуры, о характере его мистических озарений.

# Содержание

Часть первая 5
1. Родословная 5
2. Родители 10
3. Рождение Даниила 15
4. Добровы 23
5. Младенчество 30
6. Динозавры и первое стихотворение 36
7. Отец и сын 46
8. Дом в Малом Левшинском и его обитатели 52
9. Гимназия Репман 61
10. Планета Юнона и йог Рамачарака 72
11. Два Кремля 81
12. КИС 91
Конец ознакомительного фрагмента. 97

# Борис Романов
# Даниил Андреев. Вестник другого дня

© Романов Б. Н., 2021

© Издательство АО «Молодая гвардия», художественное оформление, 2021

# Часть первая
# Восход. 1906–1923

## 1. Родословная

Даниил Андреев так ощущал бессмертие и вечность, или распахнутость времени во все концы, что земную жизнь представлял лишь краткой частью пути. Когда и где этот путь начался? Он вспоминал себя в других мирах, под двумя солнцами, одно из которых, «как ласка матери, сияло голубое», а другое «ярко-оранжевое – ранило и жгло». Он вспоминал о матери и деде у шалаша под пальмами, о купанье в водах Меконга, о Непале, о дороге от Гималая на Индостан, тосковал о любви в утраченной отчизне. Но об этих жизнях-снах, о которых он романтически намекнул в стихах, большего, чем сказано им самим, не узнать. Можно верить в них или не верить.

Земная жизнь поэта доступней. Но и в ней пробелы, тайны, загадки. Не только потому, что пропали, сожжены бумаги, что свидетели умерли, не оставив показаний. Нет, все объяснить, все описать в чьей-то жизни – значит воскресить ее. Совершить чудо. Но не человеческое это дело покушаться на чудеса.

«Я плохо знаю моих восходящих родных»[1] – вот с чего начал автобиографию его отец. И в одном из последних писем давнему другу, Ивану Белоусову, сообщал: «По отцу – я великоросс; по матери и деду – поляк; по бабке и всему ее роду (Кулиш) я – хохол… Далее, по деду с отцовской стороны (орловский предводитель дворянства) – я помещик… по бабке – крепостной беднейший крестьянин…»[2]

Семейное предание, по которому отец Леонида Николаевича Андреева, Николай Иванович, был сыном орловского помещика Карпова и крепостной красавицы Глафиры Иосифовны, документами не подтверждается, но и не опровергается. Были слухи и о том, что предводитель орловского дворянства сошелся с таборной певицей. Правда это или нет – кто знает? Но встречавшийся с Леонидом Андреевым в октябре 1918-го Рерих увидел в нем «лик индусского мудреца, хранящего тайны»[3]. И во внешности Даниила и его старшего брата было нечто индусское, заметное даже на некоторых фотографиях. Знавшие Даниила в юности в эти слухи верили, называли его индийским принцем и не удивлялись поэтической любви к Индии.

В незаконченной повести Вадима Андреева «Молодость Леонида Андреева» предание рассказано по-другому. Прабабушку он называет Дарьей. Дарья была дочерью крепостного Карповых – Степана Бушова, за черноту прозванного цыганом. После смерти отца Дарью взяли в помещичий дом.

Овдовевший Андрей Карпов в нее влюбился. Когда у них родился ребенок, «он отправил Дашеньку в Красные горы, выдав замуж за своего же дворового, дал приданое – 1000 рублей и отпустил на волю. Сына, крещенного Николаем и по имени отца получившего фамилию – Андреев, – он отобрал у матери и оставил при себе: “Не годится Карпову, и незаконнорожденному, быть простым мужиком. Дам образование, пусть выйдет в люди”».

Известно, что одна из ветвей рода Карповых восходит к Рюриковичам. А орловские Карповы были в родстве с Нилусами, Тургеневыми, Шеншиными. «Род Карповых был не из древних – первый Карпов, о котором можно сказать что-либо с уверенностью, был послом царя Алексея Михайловича при Богдане Хмельницком. Большинство Карповых жили из поколения в поколение в своих поместьях… Карповы усердно занимались хозяйством, скопидомами не были, но собственность свою не разбазаривали – у Андрея Карпова в сороковых годах прошлого века было больше шестисот душ крепостных и тысячи четыре десятин: леса, заливные луга, отличный конский завод…» – повествует Вадим Андреев.

Бабушка Даниила Андреева по отцу, Анастасия Николаевна, была из орловского рода дворян Пацковских, польского происхождения, но давно обрусевших.

Род матери Даниила Андреева – Велигорских – с Украины. Это одна из ветвей тоже польского дворянского рода, к которому принадлежали и известные графы Вельгорские,

или Виельгорские[4]. Первый известный представитель рода Велигорских, поручик Григорий Никитич, во времена Екатерины II жил в Черниговской губернии. О Михаиле Михайловиче Велигорском (или Корде-Виельгорском) известно немного. По семейному преданию (вряд ли достоверному), его отец за участие в Польском восстании 1863 года лишился имений и графского титула, после чего в надежде вернуть семейное состояние он перешел в православие. Но надежды, если и были, остались надеждами. Образование он получил совсем не графское, как и другой дед Даниила, начав карьеру со звания «землемера и таксатора». С 1879 года служил в Киевской удельной конторе. Командированный затем на должность помощника окружного надзирателя, жил в местечке Голованевске Балтского уезда Подольской губернии. Там 4 февраля 1881 года и родилась его младшая дочь Александра. Всего детей у него было пятеро. Позже, с 1883 по 1894 год, Михаил Михайлович служил в Трубчевске, а жену с детьми, которым пришла пора учиться, устроил в Орле (в Трубчевске гимназия открылась только в 1914 году). Жилось им трудно – отец семейства все время находился в «крайне стеснительных обстоятельствах». Затем его перевели в Севск – городок той же Орловской губернии. Там в 1898 году он вышел в отставку, дослужившись до надворного советника. Умер в Киеве, в год рождения внука Даниила.

Бабушка Даниила Андреева, которую он очень любил, Ев-

фросинья Варфоломеевна (Бусенька), была дочерью Варфоломея Григорьевича Шевченко, троюродного брата, свояка и побратима украинского классика. О Варфоломее Григорьевиче известно, что в 1864 году он побывал под следствием за связи с польскими повстанцами. Позже опубликовал воспоминания о великом брате, которого правнук в «Розе Мира» поместил в Синклит Мира.

Евфросинья Варфоломеевна, как и ее отец, родилась в селе Кириловка Киевской губернии в 1847 году. Училась в киевском пансионе Соар. Тарас Григорьевич в письмах ее отцу не забывал племянницу, называя то Присей, то Рузей – на польский лад, от Розалии. И она его помнила, до старости берегла в сундуке коралловые бусы и голубую корсетку, им подаренные, хранила «Робинзона Крузо» на французском языке с дарственной дядюшкиной надписью.

В старости Бусенька производила впечатление женщины властной и гордой, даже чопорной, «с манерами старинной помещицы»[5]. «Она гордилась тем, что она родная племянница Тараса Шевченко, гордилась родом Велигорских, никогда никому не позволяя ни малейшей фамильярности»[6], – вспоминал Вадим Андреев.

# 2. Родители

В повести «Детство» Вадим Андреев пишет о Евфросинье Варфоломеевне: «В свое время она была против замужества моей матери, считая, что Шурочка должна сделать блестящую, соответствующую ее положению партию, что брак с молодым, никому не известным писателем без роду и племени – мезальянс, что отец с его бурным и тяжелым характером сделает несчастной мою мать»[7]. По всеобщему мнению, брак Леонида Андреева и Александры Велигорской оказался на редкость счастливым. Но, видимо, материнское сердце предчувствовало трагическую краткость этого счастья.

Познакомились они в 1896 году, на даче в Царицыне. Шурочка Велигорская была пятнадцатилетней гимназисткой.

Леонид Андреев писал друзьям: «Летом был на уроке в Царицыно… и жил у Вильегорских, чудеснейших людей, у которых я теперь так же хорошо себя чувствую, как в Орле, у вас. Целыми днями торчу там»[8]. С семейством Велигорских, недавних орловцев, его познакомил, очевидно, Павел Михайлович Велигорский. А может быть, его приятель, доктор Филипп Александрович Добров, муж старшей сестры Велигорской – Елизаветы Михайловны.

Семья Добровых, с младенчества родная семья Даниила, была дорога и его отцу. Еще до женитьбы в одном из пи-

сем он признавался: семья Добровых «страшно много сделала для меня в нравственном отношении и до сих пор служит сильной и даже единственной поддержкой во всех горестях жизни. Короче сказать, не будь на свете этих Добровых, я или был бы на Хитровке, или на том свете…»[9].

Ухаживал Андреев за Александрой Михайловной долго, отношения их развивались непросто. В первое свое царицынское лето он восхищается Шурочкой и – «неожиданный роман» – увлекается Елизаветой Михайловной. Последняя несчастная любовь еще не изжита, но в горячечном исповедальном дневнике мелькают записи и о Е. М., и о Шурочке. В следующее лето он признается, что «увлечение Е. М. миновало совершенно и бесследно», но зато «в мыслях и в сердце занимает много места Шурочка»[10].

В 1898 году, летом, Андреев опять в Царицыне, с Добровыми. Счастливое лето кончилось быстро. «Вот уже более года как я… ни с кем почти из своих знакомых не виделся (исключая опять-таки той особы, с которой в то или иное время я спрягаю любовь). С переезда же в Москву из Царицыно (sic!) я перестал спрягать и любовь и два уже с лишним месяца провожу время дома, или в суде, или в трактире. Пишу отчеты и рассказы»[11], – пишет он орловским друзьям. Работа, трактиры, метанья. Лето кончилось разрывом.

В письме в Нижний ее брату Петру Михайловичу Андреев доверительно делился переживаниями: «Не знаю, что ду-

мает и чувствует Алек<сандра> Михайловна. Я же думаю и чувствую, что, отдавши сердце, не легко взять его обратно… Как-никак, а больно»[12].

В начале следующего года он лег в клинику: лечиться от «нейрастении». Александра Михайловна навещала его тайком от матери. Они помирились. В рассказе «Жили-были» Леонид Андреев описал эти посещения: «К нему приходила высокая девушка со скромно опущенными глазами и легкими, уверенными движениями. Стройная и изящная в своем черном платье, она быстро проходила коридор, садилась у изголовья больного… и просиживала от двух ровно до четырех». Она уже знала о нем почти все. Он давал ей прочесть страницы дневника, взвинченно-откровенного.

Жених, неустроенный, неуравновешенный, страдал припадками меланхолии, депрессиями, кончавшимися запоями. Недовольство Евфросиньи Варфоломеевны понятно. Она немало узнала о будущем зяте за пять лет знакомства. Леонид Андреев делал успехи: в 1901 году вышла в горьковском «Знании» его первая книжка рассказов, о которой заговорили, – но это ее не поколебало.

Венчание состоялось в половине шестого 10 февраля 1902 года в церкви Николая Явленного на Арбате.

Заснеженная Москва неспокойна. «Анархия в самом воздухе… страшное возбуждение»[13]. В ночь на 31 января у Андреева полиция провела обыск: искали письма Горького, на письма Пешкова внимания не обратили, но взяли с обыскан-

ного подписку о невыезде. Горькому он писал: «Плохая, друже, свадьба. Вчера пропал без вести мой брат (художник); вероятно, сидит в Бутырках. Маминька моя воет.

…Центр города занят войсками и казаками; улицы оцеплены… Встретил я несколько черных и длинных, как гроба, карет под сильным конвоем казаков – и заплакал. Тошно.

А отложить свадьбу нельзя. Съехались со всех концов родственники, старики и старухи…»[14]

Поручитель при женихе поручик Воронежского пехотного полка Михаил Александрович Добров. Невысокий, уже полнеющий, как все Добровы. В год рождения Даниила за устройство под Тамбовом тайной лаборатории, изготавливавшей бомбы, он был арестован и сослан в Иркутскую губернию. Может быть, слухи о его революционных занятиях и вызвали воспоминания Андрея Белого: «…дом угловой, двухэтажный, кирпичный: здесь жил доктор Добров; тут сиживал я с Леонидом Андреевым, с Борисом Зайцевым; даже не знали, что можем на воздух взлететь: бомбы делали – под полом…»[15] Речь идет о доме на углу Арбата и Спасо-Песковского переулка, позже надстроенном еще двумя этажами. Андрей Белый, как всегда, попал в самую точку. Другой дом, в котором Даниил Андреев прожил большую часть жизни, не уцелел, революционные взрывы разметали его обитателей и посетителей, отправившихся в эмиграцию, в тюрьмы, лагеря, ссылки, в преждевременные могилы.

Приехал на свадьбу отец невесты, ставший посаженым от-

цом. Александра Михайловна была моложе мужа на десять лет, ей исполнился двадцать один год. Все, кто знал ее, говорили и писали о ней если не восторженно, то с явной симпатией, называя юной и милой, веселой и нежной. Все свидетельствовали: «…в семейной жизни Андреев был очень счастлив»[16]. Вересаев, не склонный к преувеличениям, заметил: «Лучшей писательской жены и подруги я не встречал»[17]. Горький запомнил ее «худенькой, хрупкой барышней с милыми ясными глазами», скромной и молчаливой. Говорил о ней как о редкой женщине с умным сердцем и называл «Дамой Шурой». В воспоминаниях он приписал себе авторство прозвища, нравившегося самой Александре Михайловне. На самом деле так прозвал ее едва начавший говорить сын. Она об этом написала в дневнике.

В свадебное путешествие, убегая из беспокойной Москвы, Андреевы отправились через Одессу в Крым. Там в Олеизе, у Горького, на просторной даче «Нюра» пробыли около месяца. Для Леонида Андреева годы, прожитые с Шурой, стали счастьем – незамечаемым, недолгим. Годы, в которые он сделался одним из самых знаменитых русских писателей.

# 3. Рождение Даниила

На Рождество, 25 декабря 1902 года, родился их первенец, Вадим. Родился в Москве, на Большой Грузинской, а почти всю жизнь прожил за границей. В отличие от младшего брата, появившегося на свет в Берлине и за рубежом, если не считать гощений у отца на финляндской даче, больше не побывавшего.

Из Москвы, где жизнь, как он признавался, для него становилась невозможной, Леонид Андреев уехал в октябре 1905-го: «…не хочу видеть истерзанных тел и озверевших рож». Революционный год, при всей его вере в «благодатный дождь революции», был тяжек. Арест. Две с лишком недели в Таганской тюрьме. Он с семейством перекочевывал с квартиры на квартиру. Автору «Красного смеха» угрожали: «Надо убить эту сволочь!»

Из Петербурга Андреев отправляется в Берлин. В мае следующего года селится под Гельсингфорсом. За ним следит полиция. Опасаясь ареста, скрывается две недели в норвежских фиордах и, хотя не любит этого города, опять едет в Берлин.

Рождение Даниила (доктора обещали дочь) ожидалось Леонидом Николаевичем с тревогой, к которой он старался не прислушиваться.

В Берлин они переехали 14 августа. В городе стояла тяже-

лая, угарная жара.

В сентябре Андреев писал Горькому: «Шуркино здоровье плоховато, а на днях нужно ожидать приращения»[18]. Все, что мог, он сделал – из раскаленного каменного центра они перебрались в дачное предместье: роскошная вилла, комфорт, рядом мать и теща, опытная акушерка, берлинские врачи.

А в рассказах и пьесах предощущение роковых событий, неминуемых. Но это в нем было всегда. В письмах же старается быть шутливым: «Работать тут удобно… На днях должна родить Шура… Грюневальд, вилла Кляра. – Хороша, брат, вилла: живу прямо в райской местности. Зелень и цветы»[19]. «Живем мы так. Вообрази: Грюневальд, барская квартира, в которой одних фарфоровых собачек и свиней около миллиона да 500 тысяч портретов Вильгельма и Бисмарка; принадлежит вилла бургомистру… И живут в квартире: мы, акушерка, мать Шуры и мать моя, и все ждем, когда Шура разродится»[20].

Он гуляет по лесистому Грюневальду, катается на велосипеде, работает. Здесь дописывалась «Жизнь Человека». Через год вспоминает: «И последнюю картину, Смерть, я писал на Herbertstr., в доме, где она родила Даниила, мучилась десять дней началом своей смертельной болезни. И по ночам, когда я был в ужасе, светила та же лампа»[21].

Даниил Андреев родился 2 ноября (20 октября по старому

стилю) в Грюневальде на Гербертштрассе, 26.

Поначалу казалось, что все благополучно. В письмах тех дней счастливый отец пишет о здоровом мальчишке, сообщает подробности: «…весом около 9 фунтов, большие, как у франта, ногти, громкий голос. Плачет не жалобно, но сердито, водит глазами и вообще принадлежит к “сознательным” младенцам. Не дурен, красивее Дидишки в ту пору»[22].

Но через несколько дней у матери началась послеродовая горячка.

Вот письмо Леонида Андреева Горькому от 24 ноября 1906 года:

«Милый Алексей! Положение очень плохое. После операции на 4-й день явилась было у врачей надежда, но не успели обрадоваться – как снова жестокий озноб и температура 41,2. Три дня держалась только ежечасными вспрыскиваниями кофеина, сердце отказывалось работать, а вчера доктора сказали, что надежды, в сущности, нет и нужно быть готовым. Вообще последние двое суток с часу на час ждали конца. А сегодня утром – неожиданно хороший пульс, и так весь день, и снова надежда, а перед тем чувствовалось так, как будто уже она умерла. И уже священник у нее был, по ее желанию, приобщил. Но к вечеру сегодня температура поднялась и начались сильные боли в боку, от которых она кричит…

Сейчас, ночью, несмотря на морфий, спит очень плохо, стонет, задыхается, разговаривает во сне или в бреду. Иногда

говорит смешные вещи.

И мальчишка был очень крепкий, а теперь заброшенный, с голоду превратился в какое-то подобие скелета с очень серьезным взглядом.

<…> Не удивляйся ее желанию приобщиться, она и всегда была в сущности религиозной. <…> 23 дня непрерывных мучений!»[23]

27 ноября Александра Михайловна умерла. Новорожденного забрала бабушка и увезла в Москву, в семью Добровых, к другой своей дочери. Даниил много болел, его с трудом выходили.

Александру Михайловну похоронили в Москве, на Новодевичьем, 5 декабря, на том месте, которое Леонид Андреев когда-то купил для себя, где год назад похоронил младшую сестру, Зинаиду. Стужа была в этот день, вспоминал Борис Зайцев, присутствовавший на похоронах, жестокая.

Андреев, в полном отчаянии, со старшим сыном и матерью отправился на Капри, к Горькому, ища участия. Вот и после свадьбы он с Шурой поехал к Горькому… На Капри запил. Боялись за его рассудок. «Все его мысли и речи, – вспоминал Горький, – сосредоточенно вращались вокруг воспоминаний о бессмысленной гибели “Дамы Шуры”»[24].

Он винил в смерти жены берлинских врачей, и, видимо, небезосновательно, как считал, судя по его рассказу, Вересаев, сам врач.

Все речи его сводились к ней. Он говорил Екатерине Пав-

ловне Пешковой: «Знаете, я очень часто вижу Шуру во сне. Вижу так реально, так ясно, что, когда просыпаюсь, ощущаю ее присутствие; боюсь пошевелиться. Мне кажется, что она только что вышла и вот-вот вернется. Да и вообще я часто ее вижу. Это не бред. Вот и сейчас, перед вашим приходом, я видел в окно, как она в чем-то белом медленно прошла между деревьями и… точно растаяла…»[25]

Младшего сына он называл несчастным Данилкой и попросил быть его крестным отцом ближайшего друга. Крестили Даниила 11 марта 1907 года на Арбате, в храме Спаса Преображения на Песках, который изобразил когда-то Поленов в «Московском дворике». Горький, политический эмигрант, оставался на Капри, на крестинах его заменил дядя Даниила – Павел Велигорский, а в духовную консисторию подали горьковскую записку: «Сим заявляю о желании своем быть крестным отцом сына Леонида Николаевича Андреева – Даниила. Алексей Максимович Пешков». В «Метрической книге на 1907 год» сделана следующая запись:

«В д. Чулкова. В Германии в Груновальде, уезд Тельстов родился 1906 г. Ноября 2-го дня по новому стилю. Помощник Присяжного поверенного Округа Московской Судебной Палаты Леонид Николаевич Андреев и законная его жена, Александра Михайловна, оба православные. Записано по акту о рождении за № 47, выданному 12 ноября по новому стилю 1906 года Чиновником Гражданского Состояния Рапшголь и удостоверенному Императорским Российским Кон-

сульством в Берлине ноября 30 / декабря 13 1906 года за № 4982-м.

Кто совершал таинство крещения: Приходской Протоиерей Сергий Успенский с Диаконом Иоанном Поповым, Псаломщиками Иоанном Побединским и Михаилом Холмогоровым.

Звание, имя, отчество и фамилия восприемников: Города Нижнего цеховой малярного цеха Алексей Максимович Пешков и жена врача Филиппа Александровича Доброва, Елисавета Михайловна Доброва.

Запись подписали: Приходские Протоиерей Сергий Успенский, Диакон Иоанн Попов, Псаломщик Иоанн Побединский, Пономарь Михаил Холмогоров»[26].

Позже кое-кто поговаривал, что Леонид Николаевич Даниила не любил, видел в нем причину смерти Александры Михайловны. Так ли это? Смерть жены он переживал тяжело. Работа, запои, мучительная тоска. Томясь на Капри – в России его могли арестовать, – он пишет «Иуду Искариота». Его Иуда спрашивает апостолов: как они могут жить, когда Иисус мертв, как они могут спать и есть?

Тяжесть и болезненность переживаний сказались на сыне. Он любил его с какой-то тревожностью.

Леонид Андреев называл себя писателем-мистиком. В одном из первых его литературных опытов, в сказке «Оро», шла речь о мрачных демонах в надзвездных пространствах и светлых небожителях, ангелах, о гордыне зла и всепроще-

нии любви. И позже метафизический, мистериальный пафос не исчезал. В этом он все дальше расходился с Горьким, называвшим мистицизм «серым киселем». «Долго, очень долго путался я в добре и зле. Был христианином недолго; был буддистом, ницшеанцем (еще до Ницше), язычником…»[27] – признавался Андреев. Поиски «истинной цели» мучили его до последних дней. Георгий Чулков, вспоминая, писал, что у него «был особый внутренний опыт, скажем “мистический” <…> но религиозно Андреев был *слепой* человек и не знал, что ему делать с этим опытом»[28]. Чулков, придя от невнятицы «мистического анархизма» к православию, мог бы говорить о слепоте многих из своего литературного поколения, не исключая себя.

Мистические озарения Даниила Андреева связаны и с «внутренним» религиозным опытом отцовского поколения, и со слепотой его блужданий. Сходство с отцом в некоторых чертах характера, привычках, взглядах тоже заметно, все больше обнаруживаясь с годами.

Сына он увидел в мае 1907-го, хотел забрать к себе, но этому воспротивилась Бусенька. Даниил остался у Добровых. Несколько дней Леонид Николаевич провел на даче Добровых в Бутове, гуляя среди знакомых берез, привыкая к Данилке. Побывал на Новодевичьем. В одном из писем довольно сообщал: «Данилочка выглядит хорошо, очень веселый, на меня смотрит и удивляется»[29].

В октябре снова приехал в Москву: в Художественном театре готовилась постановка «Жизни Человека». Пьеса была последним сочинением, написанным при жизни жены, как он говорил, вместе с ней. Ей, называемой им «тихий свет мой», он читал, будя под утро, написанные ночами сцены. И не мог забыть тех осенне-черных берлинских ночей.

Жена Бунина вспоминала те дни: «Кто-то спросил Андреева, почему он сегодня не в духе?

– Я только что от Добровых. Видел сына, который все чему-то радуется, улыбается во весь рот.

– Но это прекрасно, значит, мальчик здоров, – сказала я.

– Ничего прекрасного в этом нет. Он не имеет права радоваться. Нечего ему быть жизнерадостным. Вот Вадим у меня другой, он уже понимает трагедию жизни»[30].

Трагедии начавшегося века достало всем, не только обоим братьям. Но горшее выпало Даниилу. Русскую трагедию он пережил, не избежав ни тюрьмы, ни сумы, как метаисторическую, вселенскую. А в том ноябре ему только исполнился год, он был окружен любовью и доверчиво улыбался. Улыбался и невеселому отцу.

В цикле «Восход души», в котором Даниил Андреев с кем-то спорит: «Нет, младенчество было счастливым…» – отец присутствует неспокойной тенью: «Он мерит вечер и ночь шагами, / И я не вижу его лица».

Так отец и присутствовал в его жизни, незримо, но шагающий рядом, погруженный в свои видения, тревоги, писания.

# 4. Добровы

Доктор Добров был близким другом Леонида Андреева. Когда-то в дневнике он написал о Доброве: «…он правдив и, кроме того, умен – раза в 1½ больше меня»[31], – и мнения этого не изменил. В одну из последних встреч, даря издание драмы «Мысль» помнившему ее неудачную мхатовскую постановку другу, надписал: «Светочу медицины, пирамиде знания, Хеопсу глубокомыслия, ангелу кроткой благодати, дорогому ханже Филиппу Александровичу Доброву с чувством необыкновенной солидарности преподносит любящий Джайпур, в земной жизни более известный под именем Леонида Андреева. Дорогой Филипп! Ты помнишь, как мы с тобою, быв еще холостыми обезьянами, прыгали по веткам в лесах Индии, и ты еще прищемил хвост?»[32] Конечно, Индия, и даже хвост – это слова из Даниилова детства. Хвост… да, хвост мечтал отрастить сам Даниил, и дядя, прописавший худенькому племяннику, садившемуся за стол без всякого аппетита, лечебные, но горькие капли, убедил его, что это капли «хвосторастительные». «Однако для того, чтобы отрастить хвост, капель было недостаточно, следовало еще и хорошо себя вести, а вот это-то у живого и шаловливого мальчика никак не получалось. И появлявшийся, по словам дяди, росточек хвостика исчезал из-за очередного озор-

ства»[33].

После окончания Московского университета Добров всю жизнь – почти пятьдесят лет – проработал в 1-й Градской больнице, и в Москве его знали, как говорится, все. Гиляровский вспоминал, как Добров поселился в меблированных номерах на Лубянке, где традиционно останавливались тамбовские помещики. И Филипп Александрович приехал из Тамбова. Но его отец был не помещик, а известный тамбовский врач, дослужившийся до действительного статского советника. По преданию, отца хоронил весь город. Говорили: «Умер Добрый доктор».

Когда в декабре 1906-го Даниила привезли в семью Доброва, он снимал квартиру в доходном доме купца Чулкова на Арбате, на углу Спасопесковского переулка. Около 1910 года семья переехала в Малый Левшинский, сняв квартиру побольше.

Живой, в семейном кругу добродушный, к сорока годам располневший, Добров жил среди литераторов, художников, музыкантов, артистов, часто бывших не только знакомыми доктора, но и пациентами, хотя многим казалось, что его призвание вовсе не медицина. В арбатских и пречистенских переулках издавна селилась московская интеллигенция. И у нее, да и у всей Москвы сложившаяся за многие годы репутация доктора была непререкаемой: безошибочный диагноз, умелое лечение, внимательность. В приемные дни выстраивалась большая очередь. Его любили. В послереволюцион-

ные голодные годы, и позже, по праздникам, «благодарные пациенты передавали добротные продовольственные подарки. <…> Откуда это… подносилось семье, так и не удалось выяснить. Делалось это молниеносно. Звонок. В открытую дверь просовывались корзины и букеты цветов…»[34].

В просторном кабинете доктора с внушительными книжными шкафами и мягкими диванами, где он принимал больных, стоял бехштейновский рояль. В доме чуть ли не ежевечерне слышалось темпераментное музицирование хозяина. Бывало, появлялся друживший с доктором Игумнов, и они играли в четыре руки. Не чужд был Добров и литературе. Леонид Николаевич, в свояке души не чаявший, читал ему свои рассказы, прислушивался к его замечаниям. Для участников «Сред», проходивших не только у Телешова, но бывало, что и у Добровых, доктор был своим человеком. Членами этих писательских собраний были коллеги-медики Вересаев и Голоушев (Сергей Глаголь). Дружил с Добровыми Борис Зайцев. Жена Бунина запомнила андреевское чтение пьесы «Царь-Голод» у Добровых.

До смерти Александры Михайловны, живя в Москве, Андреев с Добровыми не расставался. Вместе они живали и на даче – в незапамятном Царицыне, потом в Бутове. Позже не раз проводили Добровы лето рядом с Андреевыми в Финляндии. За сына, отданного в руки Лилички, как он называл Елизавету Михайловну, он был спокоен.

Даниил считал Филиппа Александровича и Елизавету

Михайловну своими приемными родителями. Дом в Малом Левшинском переулке родным домом, помнившим всю его жизнь. В тюрьме написано стихотворение «Старый дом», посвященное памяти дяди:

Два собачьих гиганта
Тихий двор сторожили,
Где цветы и трава до колен,
А по комнатам жили
Жизнью дум фолианты
Вдоль стен.
Игры в детской овеяв
Ветром ширей и далей
И тревожа загадками сон,
В спорах взрослых звучали
Имена корифеев
Всех времен.
А на двери наружной,
Благодушной и верной,
«ДОКТОР ДОБРОВ» – гласила доска…[35]

Дом был неказистым, двухэтажным, в советские времена темно-коричневого цвета, с деревянным вторым этажом и действительно старым, по преданиям, пережившим наполеоновскую оккупацию. Но на самом деле пожар 1812 года пережил стоявший рядом большой усадебный дом, а дом, в котором жили Добровы, построен в 1832 году. Перед революцией им владел тайный советник и сенатор Рогович. Кварти-

ра Добровых до революционных уплотнений занимала весь первый этаж, в ней было девять комнат и кухня в подвале, куда шла крутая лестница – четырнадцать ступеней. В квартиру вела высокая дверь справа, с медной табличкой. В переулке, уютном, старомосковском, с распахнутыми летом окнами, с бузиной и сиренью во дворах и палисадниках, веяло провинцией. Обширный двор за домом, с могучими деревьями и еще с двумя старинными особняками поодаль, помнящими, как эти деревья вырастали. В соседнем, с мезонином в три окна, когда-то жил старик Аксаков. Память об этом не исчезла:

Еще помнили деды
В этих мирных усадьбах
Хлебосольный аксаковский кров.

Хлебосольством запомнился всем и добровский кров, не только с «мировыми темами, спорами, именами и разговорами», но и с обедами, чаем, завтраками, внеочередными сливками, кефирами, квасами из экзотического гриба… С кухней в подвале, где «беспрерывно что-то варят, жарят, приготавливают, разогревают, прихолаживают льдом»[36], откуда неслышно подают Настасья, Леночка, Юзефа…

В доме всегда присутствовала молодежь. Она появлялась вместе со старшей дочерью Добровых, Шурой, с нею врывались в дом все новые веяния.

Шура Доброва училась в драматической школе МХАТа вместе с тихой Аллой Тарасовой, с которой ее познакомила давний, с 1910 года, друг Добровых Вавочка – Варвара Григорьевна Малахиева-Мирович. А в 1915 году подружилась она и с девятнадцатилетней Ольгой Бессарабовой, приехавшей из Воронежа. Красавица Шура, высокая, стройная, с темными косами до колен, несмотря на явное дарование актрисой не стала – не смогла преодолеть страха сцены. Это выяснилось на выпускном спектакле по пьесе Гиппиус «Зеленое кольцо» и долго ее мучило. Увлечения Шуры были высокими: она затевала «спиритические мистерии», переводила «Цветы зла» Бодлера, бывала на выступлениях Бальмонта, слушала, как Брюсов читал о микенской культуре и Атлантиде. Как вспоминала о ней тогдашней Ирина Муравьева, дочь друзей Добровых: «Шура была очень интересной барышней, с претензиями на оригинальность. Например, чтобы ее лоб казался выше, несколько выбривала волосы надо лбом. Шокировала соседей и родителей тем, что танцевала танго: “Знаете, Шура Доброва танцует т-а-н-г-о…” Тогда считали, что это наполовину неприличный танец»[37].

Ее, похожую на египтянку и подчеркивавшую это, любившую экзотические наряды, дома носившую яркие кимоно и манто, писали бывавшие в доме художники – начинающий, еще футуриствующий юнкер из Нижнего Новгорода Федор Богородский и вернувшийся из Парижа Федор Константинов. Шурин портрет зимы 1917 года оставила в дневнике

Бессарабова: «Чудные темные ее косы до колен просто высоко заложены над головой и вокруг головы: их так много, что получается что-то вроде тиары. <…> Кажется выше, чем есть, от стройности и манеры держаться. Ослепительной белизны и нежности кожа, без всякой пудры и косметики, кроме ярко накрашенных губ. Черные тонкие крылатые брови над светло-серыми (часто зелеными) глазами»[38].

Даниила привезли к Добровым, когда Шуре было пятнадцать лет, он рос на ее глазах. «Посвящается той, кому я обязан всеми своими стихотворениями (Ш. Д.)», – написал он над четверостишием, написанным в январе 1917-го:

Буду Богу я молиться,
Людям помогать,
А чудесная Жар-Птица
Мне тоску свивать.

И в отношениях с двоюродным братом, Александром Добровым, шестилетняя разница в возрасте сказывалась долго.

# 5. Младенчество

Счастливое младенчество Даниила оберегала бабушка. Она выходила его, вынянчила. Вся ее трепетно-ревнивая любовь после смерти дочери сосредоточилась на младшем внуке.

В доме Добровых другому ее внуку, Вадиму, уже после смерти Бусеньки, все время казалось, что он видит «ее фигуру – высокую, строгую, властную, медленно проходящую полутемным коридором, в длинном, волочащемся по полу платье. Ее руки по обыкновению заложены за спину, худое лицо строго и сосредоточенно. Она проходит, почти не касаясь пола, большими, неслышными шагами… Во всем ее облике, во всех ее движениях – непреклонная воля и величественность»[39].

Этот образ напоминает бабушку из андреевской «Анфисы». Добровы в ней видели явный намек на Бусеньку. Мистическая старуха в пьесе почти ничего не говорит, никого ни в чем не укоряет, она вроде бы глуха и занята только тем, что вяжет свой бесконечный чулок, но знает обо всем происходящем. И ее комната с ширмами, цветными лампадами, киотом, конечно, похожа на комнату Евфросиньи Варфоломеевны. Наверное, с ней, с Бусенькой, неразрывно связана та неколебимая верность православию, которая жила в ее внуке несмотря на все искания, видения и еретические доктри-

ны. И ее ревностная любовь к младшему внуку стала главной причиной того, что Даниил рос не в отцовском, а в добровском доме.

Леонид Николаевич хотел взять сына к себе. По крайней мере, зиму 1909/10 года Даниил жил на Черной речке в его многооконном, с квадратной бревенчатой башней доме. Дом построили чересчур громоздким и причудливым, он нелегко обживался, но был впору болезненно-тревожному духу хозяина, которого пережил ненадолго.

В памяти Даниила остались зима, хрустевшая финляндской стужей, кутавшая морозным дымом близкие скалы, и огромный дом со страшными закатными окнами в вишневых шторах.

Его брат считал, что Даниилу не хватало в отцовском доме той заботливости и душевной теплоты, к которым он привык у Добровых. Потому он в нем и не прижился. Но дело было не в изнеженности и хотеньях четырехлетнего мальчика, а в его бабушке, которая и не жаловала знаменитого зятя, и не хотела, чтобы любимый внук рос с мачехой, до неприязни чуждой ей Анной Ильиничной. Повод забрать внука появился скоро.

«В 1957 году <…> уже безнадежно больной Даня <…> рассказал мне о случае, послужившем причиной его увоза с Черной речки, – вспоминал его брат. – Ледяная гора, с которой мы катались на санках, выходила прямо на реку. Трехлетний Даня съезжал с устроенной внизу горы специальной

детской площадки вместе со своей няней, правившей санками. Анна Ильинична, придерживавшаяся политики “сурового воспитания”, <…> запретила няне возить его. Даня съехал с горы один и попал прямо в прорубь. <…> По счастью, нога в толстом валенке застряла между перекладин санок, и няня, бежавшая сзади, успела выхватить его из проруби.

– Ты помнишь Бусеньку, – сказал Даня, – <…> после этого случая она пришла объясняться с отцом. У нее было такое лицо, что отец, не возражая, уступил, и мы на другой же день вернулись в Москву»[40].

Не по себе Евфросинье Варфоломеевне было и от запоев зятя. Как вспоминала двоюродная сестра Леонида Николаевича, особенно сильно он пил после смерти жены. «Как приедет в Москву, побывает на могиле, так и запой»[41].

Но увезла его Бусенька не навсегда. Есть фотография лета 1912 года, на которой Даниил в большой белой панаме сидит рядом с озабоченным отцом и задумчиво расположившимся в дачном кресле Добровым. У него, как у взрослых, выражение лица строго сосредоточенное. Фотография сделана на Черной речке. И когда Даниил Андреев говорил о счастливом младенчестве, он вспоминал не только дом в Малом Левшинском, но и летние месяцы рядом с отцом на Финском заливе.

Бывал он у отца и в Петербурге. Позже рассказывал, как, взяв за руку, отец шел с ним по Петербургу, но вдруг остановился и стал беседовать с каким-то высоким человеком. Да-

ниил сначала послушно стоял, поглядывая по сторонам, потом заскучал и стал нетерпеливо дергать отца за руку. Но тот не обращал внимания. Наконец взрослые простились, и Леонид Николаевич ответил сыну, спросившему, кто это:

– Это был поэт Александр Блок.

– Как? Разве он не умер? – удивился Даниил, думавший, что все великие поэты давно умерли.

Сохранилась открытка, присланная отцом Даниилу из Италии в январе 1913 года. С узнаваемым андреевским юмором он пишет о римских достопримечательностях, на ней изображенных: «Сыночек Данила. Вот что выросло под носом у твоего папы. Целую тебя. Твой – Леонид-отец».

Умерла Бусенька весной 1913 года, выхаживая любимого внука от дифтерита и заразившись. От Даниила, долго выздоравливавшего, ее смерть скрыли. Шура рассказывала ему о том, что Бусенька в больнице, но очень соскучилась по своей дочке, его маме, а чтобы увидеть ее, надо умереть и отправиться в рай. Бусенька просит внучка отпустить ее. После слез и расспросов Даня написал письмо, отпускавшее ее. Следующим летом, у отца на Черной речке, стосковавшись по бабушке, он решил броситься с моста, чтобы попасть в рай – к Бусеньке и маме. Может быть, их лица вдруг померещились ему в струящейся у черных свай воде. Его успели удержать. Но иной мир, промерцавший в темной бегущей воде, остался в душе навсегда, став, как становилось все в его жизни, многозначащим мифом. В поэме «Немереча» он

рассказал:

Да, с детских лет: с младенческого горя
У берегов балтийских бледных вод
Я понял смерть как дальний зов за море,
Как белый-белый, дальний пароход.
Там, за морями – солнце, херувимы,
И я, отчалив, встречу мать в раю,
И бабушку любимую мою,
И Добрую Волшебницу над ними.

Случилось это в их последнее финское лето. Наверное, тогда запомнила его сестра Вера – худенького беленького мальчика, сидевшего на камне около кухонного крыльца многолюдного отцовского дома.

Впечатления этого лета, балтийские дали с островами в плещущей синеве и дымке мечты не истаяли и через годы (он писал: «Большую часть детства я провел в Финляндии и хорошо изучил характер этого своенравного и взбалмошного моря»[42]), попали в стихи:

А вокруг, точно грани в кристалле, —
Преломленные, дробные дали,
Острова, острова, острова,
Лютеранский уют Нодендаля,
Церковь с башенкой и синева.

В Нодендале их и застало в 1914 году объявление вой-

ны. В конце июля туда, к отдыхавшим Добровым, приехал из Гельсингфорса железной дорогой Вадим, а позже, две недели прокапитанствовав в шхерах, Леонид Николаевич приплыл на своей шхуне «Далекий». В связи с войной он решил отправить к Добровым и Вадима.

# 6. Динозавры и первое стихотворение

В памяти Вадима Андреева осталось от дома Добровых ощущение монотонности жизни. Ему казалось, что само время здесь отставало «точно так же, как отставали на четверть часа большие круглые часы в кабинете Филиппа Александровича». Он тосковал по отцу, по дому, который даже ночами жил его нервными упорными шагами и стрекотом пишущей машинки. Мятущийся андреевский дух, заражающий окружающих, и отличал странный дом с большими окнами и прямоугольной башней на продутом просторе от вросшего в землю дома в московском переулке.

Братьев, живших вместе в бывшей комнате Евфросиньи Варфоломеевны, где «весь угол был уставлен старинными образами», у Добровых окружили особенной любовью. Старший брат вспоминал: «На нас переносилась та любовь к нашей покойной матери, которой долгое время жил весь дом: основоположницей этой любви, с годами переросшей в настоящий культ, была Бусенька. Перед иконами стояли большие, никогда не зажигавшиеся Шурочкины венчальные свечи, в сундуке, обитом железными полосами, хранились Шурочкины платья, отдельно в ларце лежали бусы и ленты ее украинских костюмов, постоянно рассказывались события ее недолгой двадцатишестилетней жизни»[43].

Гимназия Поливанова, где он стал учиться, была совсем

рядом – угол Малого Левшинского и Пречистенки. Гулянье, игры с младшим братом, который избегал его шумных забав, Вадима занимали мало. Их разделила, как он вспоминал, пожарная лестница: «…я силком тащил его на крышу, а брат, высоколобый и женственный мальчик, упирался изо всех сил: он не любил высоты»[44]. Скоро Вадима стала мучить болезненная тоска по отцу, он только о нем и говорил. Елизавета Михайловна, мама Лиля, как ее звали братья, в ноябре решила отправить Вадима на неделю к отцу. Провожая и предчувствуя, что он вряд ли вернется, сказала: «Помни, наш дом – твой дом».

Жизнь добровского дома была вовсе не такой тихой, как показалось двенадцатилетнему Вадиму. А может быть, она лишь вспоминалась такой, когда через годы он писал о своем неспокойном детстве, которое одухотворял вся и всех заслонявший отец. К Филиппу Александровичу и к его жене (некогда окончившей фельдшерско-акушерские курсы) приходили пациенты, друзья, знакомые. За огромным обеденным столом во время вечернего чая становилось тесно и шумно. У них всегда кто-нибудь гостил, и не только родственники, но и знакомые, и знакомые знакомых.

Даниил, как самый младший, стал всеобщим баловнем. Дружил он больше с девочками. Его иногда самого принимали за девочку – ласкового мальчика в клетчатом костюмчике и пальто, которое прикрывало штанишки. А одно время он даже носил подаренную ему девичью шубку. Все они

жили неподалеку от Пречистенки. Таня Оловянишникова – в Савеловском переулке. Познакомились они четырехлетними. Потом, когда ей и Даниилу исполнилось шесть, с ними стала заниматься близкая подруга Таниной мамы, тетя Шура, Александра Митрофановна Грузинская. Она научила их читать и писать. Вместе с ними занимались и ее собственные дети – Ирина и Алексей. В 1918-м, после того как отец Татьяны был расстрелян и умерла мать, тетя Шура взяла ее на воспитание.

«Во время перемен, когда мы ссорились, – вспоминала Оловянишникова, – один из нас часто влезал на шкаф (он стоял рядом с кроватью, и по спинке кровати было удобно влезать на него), другой мрачно слонялся по комнатам; но мы скоро остывали и шли друг к другу со словами “Даня (или Таня), перемена маленькая, поиграем лучше!”. Любили мы также во время перемен носиться по квартире на трехколесном велосипеде: один из нас вертел педали, другой стоял на запятках». Еще Оловянишникова вспоминала о детских спектаклях, которые устраивала для детей ее мама: «Ставили басню Крылова “Зеркало и обезьяна”. Даня изображал мартышку, я медведя…» Даниил верховодил, важно обрывал тихую Таню: «Глупости болтаешь!»[45]

Другими его подружками стали сестры Муравьевы, Ирина и Таня, жившие в Чистом переулке. С их отцом, Николаем Константиновичем Муравьевым, Добров сблизился в студенчестве, когда они втроем снимали одну квартиру.

Третьим был Павел Николаевич Малянтович, в свое время пристроивший Леонида Андреева, только что окончившего университет, в помощники присяжного поверенного и в судебные репортеры «Московского вестника». (С племянником Малянтовича, Вадимом, Даниил позже учился в одной школе.) Муравьев и Малянтович были одногодки, известные юристы. Оба заслужили репутацию борцов за справедливость, выступали защитниками на политических процессах, даже и в послереволюционные годы, пока это допускалось. Оба входили в Комитет помощи политическим ссыльным и заключенным, в 1937-м по приказу Ежова прикрытый.

После отъезда брата Даниил не скучал. Занятия в тети-Шуриной школе в Хлебниковом переулке продолжались, появлялись новые увлечения. Например «допотопными» животными. Об этом и о том, что иногда ему «умопомрачительно плохо», он пишет в чудом сохранившемся письме отцу:

«Дорогой папа! Поздравляю тебя с праздником. Как ты живешь? У меня недавно болели грудь и горло. Я ужасно интересуюсь допотопными животными. Наш знакомый господин надиктовал мне разные названия животных. Там были и Атлантозавр, Бронтозавр, Телеозавр и многие другие.

У нас в школе завели собственную азбуку… Мне ужасно хочется чтобы было лето. В Москве ужасные лужи и так здесь плохо: что на трамваях по четыре четыре (так! – *Б. Р.*) стоят на последней подножке. Шура уедет на осень и на зиму

в Тифлис актрисой.

И она так рада что не проходит минуты чтобы она не накричала так что в Петрограде слышно.

Целую крепко бабу Настю.

Как живет Вадим?? Его поцелуй тоже от меня.

Все ли еще Поляна спрашивает у прохожих сидит ли на ней Вадим? Неужели баба Настя играла в опере простого волка. На меня прямо на нервы влияет слово Пасха Х. В. Я ее не могу дождаться. Хотя у нас и светит солнце все-таки ужасно умопомрачительно плохо. Я целую всех. *Даня*».

Письмо написано в марте. Пасха в 1915 году была ранняя – 22 марта, ее с таким нетерпением Даниил дожидался. Следы тогдашнего увлечения остались в одной из тетрадей, где он старательно изобразил Диноцераса, Стегозавра, Ипсилофодона и еще несколько десятков ископаемых животных, так его поразивших. Вся эта ребяческая палеозоология отзовется в «Розе Мира», в которой описаны рарурги – демонические крылатые ящеры, возникшие после инкарнаций из аллозавров, тираннозавров и птеродактилей. Чудища девона, триаса и мезозоя промелькнут и в «Русских богах». Не зря он так тщательно зарисовывал их в детстве. В том же году Даниил начинает сочинять стихи и прозу. Меньше всего ему хотелось заниматься уроками и музыкой.

Вот один из эпизодов той весны:

«Филипп Александрович сидит в кабинете, углубленный в книгу. Маленький Даня тут же разучивает на рояле задан-

ные ему упражнения и начинает фальшивить. Филипп Александрович… наконец не выдерживает: “Ну, что врешь… Слезай со стула, слушай!” Филипп Александрович сам садится за рояль и начинает отбивать такт: “Раз, два, три… Раз, два, три…” Даня тем временем лезет под рояль и радостно сообщает о своем открытии: “Дядя, а ты знаешь, ножка рояля очень напоминает лапу динозавра…”…Филипп Александрович взрывается…»[46]

В следующем месяце, в апреле, Даниил пишет отцу:

«Здравствуй Отец как живешь? К нам приехал Игорь Велегорский и Тетя Вера. За ними приехал Арсений. Я ужасно жду лета. Я знаю почти всех допотопных животных. Ты ли написал рассказ “Кусака”? Я надеюсь поехать к Тебе летом погостить. Благодарю Тебя за письмо. Хорошо ли Вадим катается на велосипеде. Я пишу два рассказа. Один называется “Путешествие насекомых”, а другой “Жизнь допотопных животных”.

20 апреля такой ветер, что нельзя гулять. Слава Богу, что ветер южный. У нас сегодня сбор на ромашку. Саша и Немчинов продают ее. Мы с Муравьевыми были в зоологическом саду. Мне больше всех зверей понравились Кенгуру, Зебра и Леопард. Ирину Олину козерог боднул в палец. И у ней опухоль и очень болит. Поцелуй от меня Тебе и другим. *Даня*».

Приезд из Нижнего Новгорода, где Даниил уже гостил, двоюродных братьев, Игоря Велигорского с матерью и Арсе-

ния Митрофанова, событие, о котором следовало сообщить, но не из ряда вон – к Добровым все время кто-нибудь приезжал. Братья были куда старше, на пожарную лестницу его не тащили. У Даниила другие интересы. На Пасху он пишет поздравления «солдатикам». «А у нас в городе совсем не чувствуется война. Только в госпиталях и лазаретах лежат раненые», – простодушно сообщает он в одном из посланий на фронт. Тетрадные листки с их черновиками сохранились:

«Милый солдатик. Поздравляю тебя с Пасхой. Скоро кончится война и мы все будем в городе и будем с тяжелыми душами вспоминать о прошлом, что было в 14 году. *Даня*».

«Золотой солдатик. Как ужасно видеть все ужасы, которые творятся на войне. Я во веки не забуду эту ужасную войну. Будьте спокойны. Я предчувствую, что мы победим. Поздравляю тебя с праздником. *Даня*».

«Хороший солдатик. Да!!! было бы хорошо, если бы мы победили. Так надоела эта война, что прямо, кажется, умрешь. Небось на войне нехорошо? *Даня Андреев*».

О том, что на войне нехорошо, о госпиталях, переполненных ранеными, он знал из домашних разговоров: дядя тогда кроме 1-й Градской работал и в госпитале.

Другое заметное событие, о котором он пишет отцу, – «сбор на ромашку». «День белой ромашки» – сбор пожертвований на борьбу с туберкулезом – проводился в предреволюционные годы каждую весну, в конце апреля. В этот апрель сборщиками «на ромашку» вместе с другими гимнази-

стами были и Саша Добров со своим приятелем Андреем Немчиновым.

Даниила интересует Вадим с его исполнившейся мечтой, о которой он не раз говорил, – о «энфильдовском велосипеде», подаренном отцом.

Прочитанный отцовский рассказ о брошенной на даче собаке, о ее тоскливом одиночестве среди всечеловеческого равнодушия Даниила так тронул, что он спрашивает: «Ты ли написал рассказ “Кусака?”» Он хочет подтверждения от него самого. Но если отец пишет рассказы, то почему бы не писать и ему? А кроме рассказов этой же весной, в «ужасном» ожидании лета, написано «самое первое стихотворение» – «Сад»:

Где цветет кустами жасмин,
Где порхают стрекозы гурьбою,
Где сады хризантем, георгин
Расстилаются цепью немою,
Там теперь уже лето другое:
Там построен огромный дом;
Не цветет уже больше левкоев:
Там огромнейший город кругом.

Стихотворение он посвятил «Дроготусе – Олечке». Олечка – жившая в их доме его воспитательница, Ольга Яковлевна Энгельгардт. Когда началась война, она забрала к себе из Риги дочь – Ирину. Ирину в перенаселенном доме тогда

разместить было негде, и ее на время поселили у Муравьевых. Потом и она стала жить у Добровых. Олина Ирина, которую боднул «козерог», тут же получила прозвище – Ирина Кляйне (маленькая). В отличие от Ирины Муравьевой, младшей, но на голову выше. С двумя Иринами и Таней он и побывал в зоопарке.

Ольга Яковлевна, или Оля, как все в доме ее звали, сопровождала Даниила все детство. Ее скромный призрак появляется с докучными ребенку заботами и в его взрослых стихах: «А мне – тарелка киселя / И возглас фройлен: “Шляфен, шляфен!”»

Фройлен у него появилась еще при жизни бабушки. Полунемка-полулатышка, она учила его языку, стараясь почаще говорить с ним по-немецки. Он проказничал, не слушался, а когда та обиженно грозилась уехать от него, что происходило чуть не каждый вечер, кричал: «Олечка, фердай!» «Дроготуся» Олечка всякий раз прощала.

Кроме фройлен у Даниила была няня. Звали ее Дуней. Это шестнадцатилетняя Дуня в Ваммельсуу вытащила его из проруби. Но Дуня не первая няня Даниила. Ее предшественница мелькнула в стихах:

Вступал в ворота Боровицкие
Я с няней, седенькой, как снег!
Мы шли с игрушками и с тачкою,
И там я чинно, не шаля,
Копал песок, ладоши пачкая

Землею отчего Кремля.

По всей комнате Даниила висели нарисованные им портреты правителей выдуманных династий, сохранились они и в детской тетради. Все это отголоски *о*тчего Кремля, окружавшей памятник Александру II кремлевской галереи с потолком в мозаичных портретах великих князей и царей московских.

# 7. Отец и сын

Отец Даниила в Первопрестольной не появлялся до лета 1915 года. Тогда, после плавания на пароходике «Орел», он от Москвы сумел добраться до Рыбинска и, заболев, с полпути вернулся домой. О том, что виделся с сыном, свидетельствовал написанный тем летом «Гимн», посвященный «милому папе»:

Грустный гимн прощания,
Тихий гимн полей,
Звонкий гимн свидания,
Длинный гимн аллей.

Это его второе стихотворение в жизни.

Леониду Николаевичу удалось еще раз в Москву приехать в октябре того же 1915 года. Но каждый раз он объявлялся с множеством литературных и театральных дел. В тот год 18 октября последний раз побывал на «Среде» у Телешова, где читалась его не принятая Художественным театром трагедия «Самсон в оковах». Затем появился в ноябре. Даниила видел мельком.

Леонид Андреев жил судорожно и трудно. Писавший много, нервно переживал войну, все творившееся в обреченно приближавшейся к революции России, и заглушал постоянную тревожную тоску сменявшими друг друга увлече-

ниями. По-другому ему не жилось и не писалось. «Почти все лучшие мои вещи я писал в пору наибольшей личной неурядицы, в периоды самых тяжелых душевных переживаний»[47], – признавался он. Один из самых знаменитых писателей России тех лет ощущает себя непонятым, загнанным. «Та травля, которой в течение 7–8 лет подвергают меня в России, – записывает он в том же октябре 1915-го, – чрезвычайно понизила качество моего труда… Кто знает меня из критиков? Кажется, никто. Любит? Тоже никто. Но некоторые читатели любят – если и не знают. Кто они? Либо больные, либо самоубийцы, либо близкие к смерти, либо помешанные. Люди, в которых перемешалось гениальное и бездарное, жизнь и смерть, здоровье и болезнь, – такая же помесь, как и я»[48]. Это диагноз не только самому себе или читателям, но и современной России. В то же время его здоровое, дневное начало тянется к семье, к детям, кроме Вадима и Даниила их еще трое – Савва, Вера и Валентин. Дом на Черной речке, как и дом Добровых, всегда переполнен. Его тянет к природе, он уходит в море на яхте.

В «Автобиографии красноармейца» Даниил Андреев пишет, что в последний раз виделся с отцом и братом Вадимом летом 1916-го, в Бутове. Дожидаясь их, наверное, здесь же сочинил еще одно посвященное отцу стихотворение – «Соловей». Дача находилась неподалеку от железнодорожной станции по Курской железной дороге. Это живописное в те годы место многим было памятно Леониду Андрееву.

Есть фотография, где он снят вместе с женой у бутовской березовой рощи. Александра Михайловна с доверчиво приоткрытым ртом и грустным взглядом, Леонид Николаевич напряжен. Она ждет рождения первого ребенка. И только пережившие русский XX век, знающие о судьбе их сыновей, Вадима и Даниила, о том, что именно здесь, в Бутове, будет огорожен колючей проволокой расстрельный полигон, на котором казнят двадцать одну тысячу мало в чем повинных людей, глядя на эту фотографию, могут представить, о чем они тревожатся.

В Бутово Леонид Николаевич приехал с Вадимом в самом начале июля 1916 года, намереваясь прожить три недели.

«Мы пошли гулять втроем – отец, Даня и я – бутовскими березовыми рощами, широкими, уходившими к самому горизонту полями…» – рассказывал Вадим об этой прогулке, во время которой отец увлекся воспоминаниями. Но чем больше вспоминал, тем мрачней и неразговорчивей становился. «Около маленького, заросшего кувшинками и водяными лилиями пруда, окруженного длиннолистыми ивами и высокими березами, прямыми как мачты, – сюда приходили по утрам купаться отец и мать – отец, резко повернув, быстро зашагал к даче Добровых…»[49] На другой день уехал.

Проводившая лето вместе с Добровыми в Бутове Ольга Бессарабова, которую пригласили позаниматься с Даниилом, 22 июля писала в дневнике о братьях: «Что станется в жизни с Даней Андреевым? Теперь это восьмилетний изящ-

ный и хрупкий мальчик, замечательное дитя, необычайно одаренное. Чудесное личико, живое, красивое, умное. Берегут его как зеницу ока. Дима (старший) замкнутый, молчаливый, издали мне кажется умным и много замечающим»[50]. Занятия с Даниилом оказались необременительными. «Кажется, “урок” этот придуман нарочно, – заметила Бессарабова, – чтобы мне свободнее жить на даче летом. Кстати, чтобы и Даня не отвык от занятий»[51].

В последний раз Леонид Андреев приезжал в Москву 14 октября 1916 года. 17 октября в театре Ф. Ф. Комиссаржевского состоялась премьера его пьесы «Реквием». Что, конечно, символично. Виделся ли он на этот раз с сыном, неизвестно. А из их переписки мало что уцелело. В детской тетради есть черновик еще одного начатого письма отцу, судя по всему, писавшееся в 1917-м или даже 1918-м: «Дорогой папа! Как я обрадовался, когда узнал о возможности послать тебе письмо…» Фраза написана латинскими буквами. Это был один из «шифров» их переписки, Леонид Николаевич переписывался с сыном даже азбукой Морзе. Письма эти пропали на Лубянке.

Из азбуки Морзе и название его знаменитой статьи «S. O. S.», написанной 6 февраля 1919 года. По ее поводу Горький, в Петербурге сам возмущавшийся множеством «бессмысленных жестокостей, которые ничем нельзя оправдать», заявлял: «Ничего, ни зерна, не понимает,

а – орет…»[52] Но считавший победивших большевиков силой «зла и разрушения», прокричавший о наступлении времени «*безнаказанности* для убийств», о том, что ныне в мире «престолослужительствует сам пьяный Сатана», «орущий» Андреев, как оказалось, предсказал и наступление тирании в России, и кровавое будущее Европы. Апокалипсически-надрывные строки словно бы предопределили судьбу сына, пафос его писаний. Крик, показавшийся бывшему близкому другу неуместным – «И чего лезет не в свое дело!» – оказался пророческим и предсмертным.

В том же 1919 году, 12 сентября, в деревне Нейвола Леонид Николаевич Андреев умер. В Москве о его смерти узнали по лаконичной телеграмме, появившейся в газетах, и многие ей не верили. Такое было время – неверных слухов, путаных сообщений. Не верили и Добровы, пока не получили письма от овдовевшей Анны Ильиничны. Шла Гражданская война. Газеты в том сентябре помещали сообщения с фронтов: оставлен Нежин, взят Житомир, взят Конотоп… 23 сентября опубликован список 66 расстрелянных за шпионство в пользу Антанты и Деникина. 25-го взорвана бомба в Московском комитете РКП в Леонтьевском переулке. 28-го на Красной площади прошли похороны жертв под лозунгом «Ваш вызов принимаем, да здравствует беспощадный красный террор».

Добровы этот год пережили очень тяжело. Весной Филипп Александрович заразился сыпным тифом, к лету с трудом

выздоровел. Зима оказалась голодной и студеной. Занесенная сугробами Москва растаскивала на топливо заборы, сараи, всё, что можно сунуть в печь.

Даниил, давно отца не видевший, взрослея, все больше представлял его как отца мифологического. Так все и говорили: Даниил – сын писателя Леонида Андреева. Оловянишникова вспоминала, что, когда они учились в школе, как-то им достали билеты на «Младость» Леонида Андреева. «И, конечно, Данечка по дороге в театр потерял их. Подходя к театру, он размышлял, как нам попасть на спектакль. “Ну, я скажу, что это мой отец написал пьесу”»[53]. В театр они попали.

# 8. Дом в Малом Левшинском и его обитатели

Дом Добровых появившаяся в нем в 1915 году Ольга Бессарабова восхищенно назвала сердцем России, сердцем Москвы. «Дом Добровых кажется мне прекрасным, волшебным резонатором, в котором не только отзываются, но и живут:

Музыка – самая хорошая (Бетховен, Глюк, Бах, Моцарт, Лист, Берлиоз, Шопен, Григ, Вагнер). <…>.

Стихи на всех языках, всех веков и народов, и конечно же лучшие, самые драгоценные, а плохим в этот дом и хода, и дороги <…> нет. События. Мысли. Книги. Отзвуки на все, что бывает в мире, в жизни»[54], – писала она в дневнике революционного года.

О детстве Даниила Андреева, о том, как рос его удивительный дар, мы бы мало что знали, если бы до нас не дошли сбереженные в семье Сергея Николаевича Ивашева-Мусатова, близкого друга Даниила, две его детские тетради. В них много замечательного. Например рассказы в картинках с подписями, вроде комиксов, рисующие жизнь Добровых. Главный герой рисунков дядюшка Филипп, над которым племянник непрестанно подшучивает.

Вот рассказ «Прерванное воскурение фимиама». На пер-

вом рисунке дядюшка, полулежащий у открытого окна, за которым фигурки прохожих, держит в руке дымящую трубку: «Послеобеденный отдых. Дядюшка воскуряет фимиам-полукрупку». Подпись под следующим рисунком: «Шурочка (за занавеской с горячим молоком в руках): – Папа, тебя к телефону». Подпись под третьим рисунком – диалог: «– Кто еще там?! – И с этим разгневанным возгласом дядюшка встает с кушетки! – Не знаю… – испуганно лепечет Шура». Под четвертым: «Ничего не видя за занавеской, дядюшка натыкается на горячее молоко, которое обдает его. Шурочка вопит о помощи». Под пятым: «Дядюшка с проклятиями, но летит к телефону». Под шестым: «Дядюшка ложится на стул и разговаривает по телефону». На двух последних «Дядюшка, отговорившись, возвращается…» «и продолжает воскурять фимиам».

Или сцена «В семейном кружке»: «Дядюшка летит с самоваром. Оба дружно пыхтят»! Рассказы в картинках мало что говорят о способностях к рисованию, но литературный дар несомненен. Он честно описывает свои выходки. Язык точен и ярок: «Я выкомариваю…», «Подшлепник не пролетает мимо», «Но дядюшка помнит свои долги и… я вскрикиваю громким голосом».

Герой рассказов – и глава дома, и его душа. Вадим вспоминал:

«…дядя Филипп по всему складу своего характера был типичнейшим русским интеллигентом, – с гостями, заси-

живавшимися за полночь, со спорами о революции, Боге и человечестве. Душевная, даже задушевная доброта и нежность соединялись здесь с почти пуританской строгостью и выдержанностью. Огромный кабинет с книжными шкафами и мягкими диванами, с большим, бехштейновским роялем – Филипп Александрович был превосходным пианистом – меньше всего напоминал кабинет доктора. Приемная, находившаяся рядом с кабинетом, после того как расходились больные, превращалась в самую обыкновенную комнату, где по вечерам я готовил уроки. В столовой, отделявшейся от кабинета толстыми суконными занавесками, на стене висел портрет отца, нарисованный им самим. На черном угольном фоне четкий, медальный профиль, голый твердый подбородок…»[55]

Все, кто бывал в доме Добровых, вспоминали о его хозяине с восхищением. Он был уважаем не только как самоотверженный доктор, но и как замечательно разносторонняя, глубокая личность. Вот его портрет зимы 1920 года:

«…сутуловатый, с бородкой клином, пушистыми усами, как бы небрежно подстриженными, блондин. Характерный жест для Филиппа Александровича – поглаживание бородки книзу и реже – поглаживание усов. Густые брови и ресницы подчеркивали серо-голубые, глубоко сидящие глаза. <…> Походка у Филиппа Александровича мешковатая и плавная, почти без подъема ступней от земли, но быстрая. Смех был заразительным и раскатистым, и смеялся он всегда громко,

но как-то всегда в меру, ненавязчиво и ненадоедно. Он очень любил юмор, и смех был свойствен его природе. Мягкие красивые руки – музыкальны»[56].

Филипп Александрович и создал ту одухотворенную атмосферу, которая воспитала Даниила. О докторе близкий друг Даниила, Ивашев-Мусатов, писал:

«Он был человеком громадной, редкой и возвышенной культуры и редкой внутренней скромности.

Обычно вечером, часов в 10, Филипп Александрович уходил в свою комнату – и там ложился на свою кровать и читал часов до 12 ночи. Сосредоточенно, вдумчиво и глубокомысленно Филипп Александрович читал книги по вопросам искусства, литературы, философии и истории. Ночная тишина и спокойствие в доме давали Филиппу Александровичу ту внутреннюю собранность и углубленность, которые помогали ему вникать в глубину мысли читаемых книг. В течение 20–25 лет Филипп Александрович все свои вечера проводил за такими чтениями, и понемногу эти его чтения давали ему большой и разнообразный материал, который складывался постепенно в его своеобразное, индивидуальное мировоззрение, глубоко и вдумчиво обоснованное, прочувствованное и значительное, представлявшее собою нечто цельное и единое. <…>

Вот пример одной из бесед Филиппа Александровича с одним из своих посетителей.

Зашел разговор о начале Евангелия от Иоанна. Евангелие

от Иоанна было написано по-гречески. Оно начиналось так: “В начале был Логос, и Логос был у Бога, и Бог дал Логос”.

Для полного понимания этих слов надо вспомнить, что в Греции понималось под словом Логос. История понятия Логоса была длительной и сложной. <…> И ко времени написания Иоанном его Евангелия, под словом Логос уже понималось возвышенное понятие высшей мудрости, высшей правды, духовного высшего смысла. Поэтому, чтобы вникнуть по-настоящему в начало Евангелия от Иоанна, надо вместо слова Логос вставить его значение, как оно понималось во время Иоанна. <…>

Теперь, когда я вспоминаю мои посещения дома Добровых и мои беседы с Филиппом Александровичем, мне всегда представляется, что я как бы сразу выхожу в какую-то особенную область, в которой куда-то исчезают повседневные заботы и соответствующие мысли и ощущения, и вместо них появляются самые важные в жизни вопросы о величии жизни, о красоте и значительности бытия, о вечности жизни, о высшем назначении жизни, об ее оправдании перед человеческим сознанием, о высшем смысле жизни, – и эти вопросы приобретают огромное значение»[57].

Благодаря доктору, который в юности хотел стать музыкантом, мечтал о композиторстве, но по воле отца стал врачом (по семейной традиции старший сын должен был унаследовать профессию), в доме жил «дух музыки». Этот дух, как бы ни сопротивлялся музыкальным урокам племянник,

овеял его детство и остался в нем.

…Над клавишами вижу я седины,
Сощуренные добрые глаза.
Играет он – играет он – и звуки,
Струящиеся, легкие, как свет,
Рождают его старческие руки,
Знакомые мне с отроческих лет.

Все Добровы были очень музыкальны, сестра доктора, Софья Александровна, окончившая Московскую консерваторию по классу фортепьяно, стала органисткой. По крайней мере, вагнерианство Даниила начиналось под воздействием дядюшкиного. Бывали в доме и знаменитые музыканты, в нем играл Скрябин, пел Шаляпин.

Даниила, как младшего, баловали. И, по крайней мере, раннее детство было счастливым. По свидетельству его вдовы, «он благодарил за это Бога до последних дней и помнил много веселых и забавных эпизодов из своего детства. Например, к Дане приходил домашний учитель, который установил две награды, вручавшиеся в конце недели за успехи в учении и поведении. Вручались – одна буква санскритского алфавита и одна поездка по Москве новым маршрутом – сначала конки, а потом трамвая. Санскритские буквы околдовали мальчика любовью к Индии, а поездки по Москве укрепили врожденную любовь Даниила к родному городу»[58].

Из его тетради узнаем о семейных увлечениях, это – биль-

боке, серсо, крокет, пасьянс.

Даниил часто влюблялся. Одной из первых избранниц стала шестилетняя Ирина Муравьева, которая, конечно, об этом не подозревала, а Даниил хотел на ней, когда вырастет, жениться, она его устраивала, как, смеясь, вспоминал он через годы. О другой влюбленности, бутовским летом 1916-го, рассказано в стихах:

Она читает в гамаке.
Она смеется – там, в беседке.
А я – на корточках, в песке
Мой сад ращу: втыкаю ветки.
Она снисходит, чтоб в крокет
На молотке со мной конаться…
Надежды нет. Надежды нет.
Мне – только восемь. Ей – тринадцать.

Бывало, что летние месяцы он проводил с семьей Муравьевых, у их бабушки, в селе Щербинине в 14 верстах от Твери. Даню к ним отправляли вместе с Ольгой Яковлевной. Приезжал туда и Саша Добров, рослый красивый гимназист, которого Николай Константинович шутливо величал бароном Брамбеусом.

Добровым после революции пришлось потесниться, хотя семья была многолюдной. Из девяти комнат, две из которых занимала прислуга, у них осталось три, квартира стала коммунальной. Но стеснилась вся Москва. Петроградец Чуков-

ский после поездки в столицу заметил, что в квартирах «особый *московский* запах – от скопления человеческих тел»[59]. Кабинет Филиппа Александровича стал жилой комнатой, хотя рояль стоял на прежнем месте. Комнату, в которой жил Даниил, разделила занавеска. Здесь устроили Ирину Кляйне.

Над ними, на втором этаже, жили некие Михно. Об этом мы узнаем из Даниилова рассказа в рисунках «Водопад в миниатюре»: «Я сплю»; «Внезапно ночью от Михно начинает течь»; «Наконец я не выдерживаю и ставлю таз»; «Но можете себе представить мой ужас, когда об таз капает все громче!!!»

Сестра Елизаветы Михайловны, Екатерина Михайловна, после того как ее мужа, Николая Степановича Митрофанова, как врача мобилизовали, из Нижнего Новгорода все чаще приезжала к Добровым. У них жил ее сын, Арсений. В 1919-м пришло известие, что муж ее умер от тифа. Так она у сестры и обосновалась. А в 1923-м поселилась в кухонном полуподвале Феклуша, монахиня Новодевичьего монастыря. Весной 1922-го монастырь закрыли, настоятельницу игуменью Веру и еще нескольких клириков предали суду. Среди осужденных – крестивший Даниила семидесятилетний протоиерей Сергий Успенский. Если храм, где он служил, некогда запечатлел Поленов, то отца Сергия для картины «Русь уходящая» написал Павел Корин.

С лета 1917 года и почти до Шуриного замужества у Добровых жила ее подруга Эсфирь Пинес. Поселилась она по

предложению Елизаветы Михайловны: «Шура так больна, нервна, и ей это приятно, она дружит с Эсфирью, может быть, Шуре будет легче»[60]. В тетради Даниила есть стихотворение, посвященное «Эсфирюшке», – «Гимн Венере». Под ним дата 6–7 ноября 1918 года. Строчка «Красавица вечера, ты блестишь в небесах!» или эпитеты «Опалово-яркая, жемчужно-прекрасная», хотя и относились к утренней звезде, должны были ей польстить, по мнению щедрого автора. У Малахиевой-Мирович, как и в «гимне» Даниила, Эсфирь – денница, павший Серафим с чертами скорбными и больными. Богемное создание, предпочитавшая мужской костюм, изящная, часто бесцеремонная Эсфирь вызывала у одних сочувствие, у других неприязнь. К тому же, как и Саша, познакомивший ее с сестрой, как и болезненно утонченный Арсений, Эсфирь пристрастилась к кокаину, как и они, периодически пыталась избавиться от зависимости.

В 1922-м Добровы приютили сироту, старшую дочь умершего от чахотки сибирского священника – Фимочку. Претерпевший множество бед, тот начал служить в их церкви. Батюшку с измученным лицом Елизавета Михайловна после обедни пригласила к завтраку, и тот, ненадолго прилегший на диван, умер. Мать Фимочки умерла на пути в Москву от тифа, оставив девятерых детей.

# 9. Гимназия Репман

В 1917-м Даниилу исполнилось одиннадцать лет. Революционные события он воспринимал не только из взрослых разговоров, жизнь менялась резко. В последний день февраля толпа собралась перед Городской управой на Воскресенской площади, читали в рупоры телеграммы из Петрограда, поднимали красные флаги. Народ толокся на Тверской. Шура «пошла на Воскресенскую площадь “для сильных ощущений” <…> и “потому, что не могла сидеть за печкой”. Саша пошел с ней, потому что сестра идет, и он ничего не боится…». С детьми пошла и Елизавета Михайловна: «погибать, так вместе»[61]. Так же вместе Добровы в начале апреля на Страстной неделе и на Пасху шли на службы в храм Христа Спасителя. Но говорят они в эту весну «больше всего о Ленине в Петербурге, об охранке, о грядущем наступлении, письмах Лоллия Львова в “Русских ведомостях”», «о политике, о власти, об устроении жизни страны»[62]… Елизавета Михайловна верит, что «народ и страна наша не погибнут. Но будет много катастроф, жертв и бед. Неисчислимо и неизмеримо»[63].

А в октябре на перекрестках горели костры, топтались вооруженные люди. На крышах высоких домов пулеметы. Во время восстания юнкеров их переулок оказался под огнем,

рядом, на Пречистенке, размещался штаб Московского военного округа. Слышалась стрельба, усиливавшаяся к ночи, ухали пушки. В Кремле верхушку Беклемишевской башни снесло снарядом, на Спасской разворотило часы, в Успенском соборе зияла пробоина, зацепило один из куполов Василия Блаженного. Всюду по уже тронутой снежком ноябрьской Москве следы боев: щербатые стены, выбитые окна. Упоминали о трех тысячах убитых. На улицах замелькали фигуры солдат. В разговорах раскатистую фамилию Керенского сменили резкие – Ленин, Троцкий. Обсуждали то, чем жила Россия, чем жила Москва.

В декабре давали по карточкам четверть фунта хлеба на человека в сутки.

В январе 1918 года обокрали Патриаршую ризницу.

1 февраля ввели новый стиль, и сразу наступило 14-е число.

21-го на закате москвичи видели небесное знамение. От заходящего солнца взметнулся высокий огненный столб, прорезанный поперечной полосой. Багровый крест в полнеба осенял закат несколько минут. На другой день по Москве пошли толки о кресте, идущем с запада.

Ночью с 9 на 10 марта большевистское правительство тайно оставило Смольный и выехало в Москву, объявленную революционной столицей.

На Пасху (она была поздней – 4 мая) народ первый раз не пустили в Кремль.

В соседнем доме, в том самом, где когда-то жили Аксаковы, в квартире 9 ЧК в конце мая схватила контрреволюционную группу «Союз защиты родины и свободы». В два часа дня подъехали грузовики с латышами-чекистами во главе с самим Петерсом и увезли захваченных врасплох неопытных заговорщиков.

В июле стало известно о расстреле царя. Сообщение сопровождалось лицемерной ложью: «Жена и сын Николая Романова отправлены в надежное место».

Революционная современность попала и в тетради Даниила. Вот диалог под рисунком, изображающим брюхастого господина с рукой в кармане и тощего господина в канотье и с тросточкой:

«– Василий! Ты мой дворник бывший?!

– Ишь, буржуй, худышкой стал! А во-вторых, какой я тебе дворник?!

– Кто старое вспомнит – тому глаз вон! А вот мы, Василий, настоящее вспоминаем, ты теперь будешь буржуй, ты, мой дворник».

А вот какую характеристику он дает себе: «Даня Андреев слыл смешным и хитрым мальчиком. Его прозвали “Рейнике-лис”. Он любил пошалить, но драки не любил и всегда избегал».

В сентябре 1917-го его отдали в прогимназию для детей обоего пола Е. А. Репман, основанную в 1904 году и «одну из самых передовых и демократических в Москве», – как он

писал в «Автобиографии». В том же году гимназия стала 23-й школой второй ступени Хамовнического отдела народного образования, позже получив номер 90. Находилась она рядом с домом, где жил и умер Гоголь, в Мерзляковском переулке, на месте нынешнего дома полярников (Никитский бульвар, 9). Руководили гимназией ее основательницы Евгения Альбертовна Репман и Вера Федоровна Федорова.

Еще в 1816 году Христиан Карлович Репман, нидерландский подданный, приехал в Петербург, дав начало жизнестойкой русской ветви рода, сумевшей пережить и век двадцатый. Отец создательницы гимназии, Альберт Христианович, был не только действительным статским советником, доктором медицины, но и директором отдела прикладной физики в московском Политехническом музее.

Революционные потрясения меняли ход времени, отзывались на всем и вся. Ровесник Даниила вспоминал, что в 1917 году, когда он поступил в гимназию, в ней «каждый день, во время большой перемены, дети московской интеллигенции устраивали побоища (не слишком грозные и кровавые) между “юнкерами” и “большевиками”»[64].

Академик Колмогоров, окончивший школу Репман, которую называл «необыкновенной гимназией», раньше, чем Даниил, свидетельствовал: «В 1918–1919 годах жизнь в Москве была нелегкой. В школах серьезно занимались только самые настойчивые»[65]. В классах появлялись новые ученики, исчезали прежние. Менялись и учителя. Но тради-

ции, несмотря ни на что, еще хранились. А среди учителей были замечательные.

Надежде Александровне Строгановой в 1917-м было уже за сорок. Жена ученого, она окончила кроме Высших женских курсов еще и Сорбонну. Преподавая французский язык, знакомила учеников с классиками и современными писателями, читала им драмы Ростана, вела – в старших классах – по-французски философские беседы. Вот какой портрет ее оставила познакомившаяся с ней в начале 1930-х современница: «…острый ум, холерический темперамент. Внешность… смуглое сухое лицо, жгучие черные глаза протыкают тебя насквозь… забраны на темя волосы, но заколоты небрежно, темно-серые пряди выбиваются из допотопной прически… черный балахон без пояса, от горла до земли, с узенькими рукавами до пальцев облегает ее тощее подвижное тело»[66]. Темпераментное учительство, иногда деспотичное, стало ее второй натурой. Диалог Надежды Александровны тех лет с попавшейся под руку ученицей:

«– А вы ходите в церковь?

– Иногда, на похороны. И к заутрене, ради настроения – посмотреть на крестный ход, на свечи, лица… по традиции, конечно.

– Какой ужас! Где ваша душа? – Она припугнула меня адом. И еще:

– Вы читали “Столп и утверждение Истины” Флоренского?

– Нет. Нет еще…

– Стыдно. Вы – крещеный русский человек, занимаетесь философией как язычница! Пора заложить фундамент Православной Веры»[67].

Жили Строгановы в арбатском переулке – в Кривоникольском. В комнате Надежды Александровны «стоял многоярусный киот, мигали две лампады, иконы были занавешены платками от нежелательных советских глаз»[68]. Пламенность натуры с годами сосредоточилась в православной истовости, учительские интонации стали проповедническими. На таких, как она, и стояла «катакомбная церковь». Когда Андреев писал в «Железной мистерии» о криптах, о молящихся в них, наверное, видел перед собой непреклонную Надежду Александровну.

Литературу преподавала Екатерина Адриановна Реформатская, пришедшая в гимназию в декабре 1919 года. Историю – Иван Александрович Витвер, одновременно занимавшийся в аспирантуре Института истории, артистичный, увлеченный театром и музыкой, ей он профессионально учился перед революцией. Географию, так любимую Даниилом, – вдохновенная Нина Васильевна Сапожникова, а естествознание, уже в старших, восьмых и девятых классах (тогда они назывались группами), – Антонина Васильевна Щукина.

Федор Семенович Коробкин, учитель математики, прежде много лет работал в Первой гимназии на Волхон-

ке. Эренбург, там учившийся, в мемуарах упомянул, что для них грозой был инспектор Коробкин. Математику Даниил, по словам одноклассницы, «не любил, не знал и не учил». Поэтому он «каждый раз уходил с урока и прятался. В конце концов наступил последний урок, тот самый, контрольный. <…> Даниил – староста, да еще фамилия Андреев – на “А”. С него начинается обнародование отметок всего класса. Преподаватели по очереди называют свою отметку каждому ученику. Когда дело доходит до математика, он, не поднимая глаз, говорит: “Успешно”.

Через несколько лет Даниил специально пошел домой к этому учителю, чтобы спросить: “Почему вы так поступили?” И вот что услышал в ответ: “Вы были единственным учеником, о котором я не имел ни малейшего представления. Я просто вас никогда не видал. Меня это заинтересовало, и я стал осторожно расспрашивать остальных преподавателей об ученике Данииле Андрееве. И из этих расспросов я понял, что все ваши способности, интересы, все ваши желания и увлечения лежат, так сказать, в совершенно других областях. Ну зачем же мне было портить вам жизнь?”»[69].

А математику в школе преподавали замечательно, судя по тому, что именно ее окончили кибернетик академик Трапезников и гениальный математик Колмогоров. Колмогоров вспоминал: «Классы были маленькие (15–20 человек). Значительная часть учителей сама увлекалась наукой (иногда это были преподаватели университета, наша преподаватель-

ница географии сама участвовала в интересных экспедициях и т. д.). Многие школьники состязались между собой в самостоятельном изучении дополнительного материала, иногда даже с коварными замыслами посрамить своими знаниями менее опытных учителей. <…> По математике я был одним из первых в своем классе, но первым более серьезным научным увлечением в школьное время для меня были сначала биология, а потом русская история…»[70] В 1917 году Колмогоров вместе с одноклассником обдумывал конституцию идеального государства. Учился с ними ставший историком и академиком Лев Владимирович Черепнин.

Учителя здесь сами выбирали, как и чему учить, главное – раскрыть таланты учеников. Зубрежка не признавалась. Обязательных экзаменов не существовало. Творческая увлеченность и учителей и учеников делала особенной школьную обстановку. Поэтому школа была так дорога всем ее выпускникам, сохранявшим связь друг с другом десятилетиями. В «Розе Мира» страницы о воспитании человека облагороженного образа, записи по педагогике в тюремных тетрадях, конечно, связаны с воспоминаниями о родной школе. И не на одного Андреева она оказала такое влияние. Память о «необычной» школе, признавался Колмогоров, «стала одной из идей, которые постоянно носились передо мной, – <…> сосредоточиться на деятельности руководства идеальной, в каком-то смысле, школой»[71]. Такую школу, математическую, он, в отличие от поэта, создал.

Вот одна из шалостей Даниила, которого одноклассники называли «королем игр» за то, что «он в любую игру вкладывал все воображение»[72]. Это рассказ с его слов: «Как-то ребята страстно заспорили о том, сколько груза поднимут воздушные шарики, и решили это проверить. Сложив деньги, выданные родителями на завтраки, они купили связку воздушных шаров и привязали к ним маленькую дворовую собачку. Спор-то шел всего-навсего о том, приподнимут шары песика или нет. Каково же было изумление ребят, их восторг и страх за бедное животное, когда шарики подняли собаку на высоту второго этажа и она с громким лаем понеслась вдоль переулка, задевая по дороге окна»[73].

В гимназию Даниил ходил пешком. Был он смуглолицым, длинноносым, и случалось, что встречная ватага арбатских мальчишек в переулке останавливала его и, обзывая «жидёнком», требовала показать крест. Креста он не показывал, а, отстаивая честь, дрался.

В детской тетради Даниила есть рассказ в комиксах «Гимназия. Несчастный день», построенный по всем законам драматургии. Он состоит из одиннадцати карикатур: «Я опаздываю на урок», «Я рассердил учительницу: – Потрудитесь, Андреев, покинуть класс!», «Я выгнан, я грущу», «На перемене я весел, скачу, играю», «Я играю с Левой Субботиным в салазки», «Я неоднократно падаю… Вдруг в дверях грозная В<ера> Ф<едоровна>!!!», «В. Ф. читает нотацию и оставляет до 4 часов; я от страха влез под парту!», «Не унывая, я и Лева

деремся…», «В дверях божественная Е<вгения> А<льбертовна> – Вон, вон из гимназии!!! Никогда сюда не приходите», «Да! меня выключили! срам, позор! Я плачу…»

Трудные времена сплачивали учителей и учеников. Учившийся в одном классе с Ивашевым-Мусатовым профессор Богоров, гидробиолог, вспоминал: «Первые годы революции Наркомзем стал снабжать школы продуктами. Все было на самообслуживании. Мы, ученики, отправлялись с детскими санками на Чистые пруды. Там нам выдавали сухой компот. На других складах по ордерам выдавали другие продукты»[74]. Затем учащиеся голосованием выбирали «куховаров», и, конечно, каждая ложка каши, каждый стакан компота были на счету.

В те экспериментальные времена Даниил был членом педсовета. В его тетрадях есть несколько списков одноклассников. Фамилии в них меняются, революционные вихри, проносясь по арбатским переулкам, уносят одни семьи, приносят другие. Среди тех, чьи фамилии повторяются, друзья Даниила. В Воротниковском переулке жил Алексей Шелякин, будущий «одноделец». Он вспоминал, как приходила к ним в дом Таня Оловянишникова: «Мой отец говорил… к тебе пришел Ангел. И действительно, Таня тех лет походила на Ангела. Прекрасное лицо – доброе и открытое».

В тетради Даниил ставил отметки девочкам класса и не был щедр, выше тройки никому, кроме избранницы – Гали Русаковой, ей – пять с плюсом. В записке к Оловянишни-

ковой он признавался, что Галю «любит безумно», и спрашивал: «Ты обратила внимание, какие у нее глаза, особенно когда она танцует вальс?» Так же безнадежно в Галю были влюблены его друзья Попов и Шелякин.

# 10. Планета Юнона и йог Рамачарака

В детских тетрадях Даниила обнаруживаются прообразы и начала всех его книг. Выдумывая, он прислушивался к необъяснимо возникающим в нем звукам.

Играя мальчиком у тополя-титана,
Планету выдумал я раз для детворы
И прозвище ей дал, гордясь, – Орлионтана:
Я слышал в звуке том мощь гор, даль рек – миры,
Откуда, волей чьей созвучье то возникло?
Ребенок знать не мог, что так зовется край
Гигантов блещущих, существ иного цикла,
Чья плоть – громады Анд, Урал и Гималай —

так он описывал свое начальное сочинительство, как неосознанное прислушивание к иному миру. Вот что рассказывает в «Дневнике» о нем, восьмилетнем, Бессарабова: «Даня презирает все существующие в мире языки (их надо учить, и они “маловыразительны”) и изобретает свой, новый, с исключениями, спряжениями и очень выразительными австралийскими окончаниями. Иногда звуки и слова “должны сопровождаться мимикой и жестами”»[75].

О врожденном и обостренном чувстве слова, его звучания говорит детская история со словом «валь». Она рассказана со слов поэта его вдовой: «Дамы в те годы носили на шляпках

вуали. Даня упорно, не слушая замечаний старших, говорил не “вуаль”, а “валь”. И только вечером в постельке, обняв белого плюшевого медвежонка, погибшего при нашем аресте в 1947 году, мальчик восторженно и тихо шептал: “В-уаль…” Это слово было таким красивым, что его нельзя было произносить вслух на людях»[76]. Сам он говорил о том, что слово для него «в запредельные страны музыкой уводящие звуки».

Одно из первых его сочинений – история страны «Мышинии». Это нечто вроде летописной хроники двух правящих династий – «Урасовской» и «Климской». Разделенное на параграфы и повествующее о войнах, междоусобицах и смутах, о характерах сменяющих друг друга на престоле властителей, оно говорит о знакомстве юного писателя с тогдашним «Учебником русской истории» Платонова и еще с увлекательной книгой русского естествоиспытателя и путешественника Ященко «Хруп (крыса-натуралист)». Вполне возможно, что он и начал свою хронику после первых уроков истории в гимназии. В хронике остроумно описано около сорока царствований, и можно только удивляться изобретательности летописца «Мышинии». Вот некоторые ее параграфы:

«§ 2. Пи I Котогуб. Но зря плачут мыши по Урасе, есть сын: Пи Иждыгарович I. Вот он вступил на престол и шелковым платком вытер слезы старым придворным. И задумал Пи погубить кота, заклятого врага мышиного. Собрал большую рать и двинулся. Тихо подкрался он [к] коту спящему и

ловким движением задвинул хвост Кошачий в щелку… Мяучит Кошка, а мыши давай Бог ноги. Прославился этим подвигом Пи I и дали ему название “Котогуб”».

«§ 21. Урас VII Святой. Долго не хотели мыши брать в цари сына Сера IV Ураса VII, но делать было нечего. Урас был язычник. Он поехал путешествовать, а правление передал своей матери Морщинке I. Он поплыл в Крысию, где исповедовали Христианство. Урасу понравилась эта вера, и он принял ее, причем получил имя Крыс. Мать его была этому очень рада, а мышиная церковь причислила его к святым. Скончался он в 1477 году».

«§ 22. Пи Вдохновенный IV. У Ураса осталось 2 сына: Пи и Итдыгар. После долгой смуты и издавания законов воцарился Пи IV. В это время в Мышинии появлялось все больше язычество, а Пи IV исправлял его. За это Пи прозвали “Вдохновенный”, что значит “исполняющий заповеди Божьи”. От мышей и у нас это слово. Итдигару II было завидно смотреть на Пи. Он убил его, а сам воцарился на престоле. Но Господь наказал его: он скоро умер».

Повествование доведено до 1601 года, но за это время в Мышинии произошли не только смены династий, но и бунты, и революции. Уже тогда для Андреева очень важен религиозный взгляд на историю. «Славный он был император, – говорит юный автор об Урасе I, – любил свою родину, заботился о ней и исполнял заповеди Божии».

Рядом с сочинениями о выдуманных странах и портрета-

ми их правителей – рисунки о злободневности: «Русский поезд Москва – Севастополь», с пассажирами, толпящимися на крышах вагонов, «Сознательный большевик» в бескозырке и с дымящей папиросой в зубах (надпись зачеркнута), «Сатана на земном шаре».

В его комнате висела карта полушарий выдуманной им планеты. Она называлась Юнона. Рядом красовались портреты правителей Юноны. Целая серия таких портретов и подробные карты сопровождают в тетради «Краткое описание стран планеты Юноны». Если «Мышиния» сочинение историческое, то описание Юноны – географическое. Чувствуется, что оно создание более опытного и повзрослевшего сочинителя. О Мышинии он пишет как бы играя, а в описании Юноны вполне серьезен. Но и тут поражает тяга к систематизации, к тому, чтобы описать воображаемый мир, совершенно фантастический, с научной обстоятельностью. Это свойство очень заметно в «Розе Мира». С той же последовательностью, как некогда страны Юноны, он описывает в ней структуру Шаданакара, его затомисы, сакуалы, шрастры. Чем необычней видения, тем методичней изображены. Вот и Орлионтана, о которой он вспомнил в стихах, в сочинении страна со своей географией и историей. Правда, кое-что в ее описании напоминает недавнюю историю России. Орлионтана, пишет он, «изобилует всевозможными сектами, партиями, и там нередко происходят революции и восстания, подавляемые, впрочем, обыкновенно при помощи других го-

сударств. В недавнем времени там произошла колоссальная революция, во время которой сместили 3 “Думы Страны”. Эта революция известна под именем “Великой Орлионтанской Революции”».

География же Орлионтаны напоминает совсем другие страны:

«На реке Гаглец, которая вытекает на юго-западе Орлионтаны, стоит город Фона. Эта река втекает на южной границе в Герре и, повернув к востоку, впадает в море, в Двухнусный залив. Между рекою Гаглец и Аррено-Тампаниа лежит пустыня Орлионтанская. Она совершенно безжизненна, мертва и не заселена. Там даже не живет зверей. Тут нет ни одного города, и только около Аррено-Тампаниа есть большой оазис Тапешан; но жизнь в нем невозможна благодаря трудности сношения с другим остальным миром. В Орлионтане живут Орлионтанцы и Венерцы, занимающиеся земледелием. Сеют кукурузу, хлопок, пшеницу и сахарный тростник, сажают на севере картофель».

В трех частях описания Юноны поражает огромное количество названий, которые с такой легкостью дает автор тридцати двум выдуманным странам, множеству городов, рек, гор.

Во второй тетради юнонская эпопея продолжена изложением мифологии Цереры, страны на планете Юнона. Она озаглавлена «Сказки и легенды о чудесных богах и богинях церерских». Во «Вступлении» говорится:

«Все 33 бога Древней Цереры разделялись на добрых и злых. Каждая из этих партий имела свою высокую неприступную гору и на ее самой верхушке замок. Замок добрых назывался Дорелийский, а злых – Теппесский. Эти два замка вечно враждовали и ссорились, их главной целью было завоевать Херрину, богиню земных богатств, которая жила одна в великолепном дворце на одиноком острове Мольбоу. Но этот дворец был так неприступен, что долго никто из них не мог завладеть им, а карлики, окружавшие дворец, умели колдовать».

Так, уже в детском мифотворчестве можно разглядеть наивное начало мистического эпоса, «русских богов», плененную в цитадели Навну. Для его вдовы это убедительное свидетельство врожденной связи Даниила с иной реальностью:

«Поток звукообразов и словообразов, который потом воплотился в зрелом поэтическом творчестве, уже тогда изливался на ребенка. Когда знакомишься с детскими тетрадями Даниила, то создается четкое впечатление, что мальчика готовили иные силы, что его ранняя, буквально внутриутробная встреча со смертью – это ранняя близость к иному миру, оставшаяся навсегда. И его, казалось бы, забавные игры со словами тоже были сложными упражнениями в слышании иных миров. Направленность к иным мирам проявилась в нем необыкновенно рано»[77].

Тогда же он увлекся астрономией. Вечерами забирался на крышу и часами рассматривал звездное небо. Узнавший о

его увлечении отец писал Добровым: «Даня совсем как мой герой из драмы “К звездам”: кругом бушует война и революция, а он пишет мне целое письмо – только о звездах…»[78]

Книги, прочитанные в отрочестве и пережитые с восторгом откровения, даже если через годы вызывают равнодушную усмешку, запоминаются навсегда. Книга Рамачараки «Основы мировоззрения индийских йогов», проглоченная «в 13-летнем возрасте», «сыграла, – признавался Даниил Андреев, – в истории моего развития очень большую роль»[79]. 1920 год прошел для него под влиянием таинственного йога Рамачараки. Йог заставил его увериться в прежних рождениях в Индии, запомнить, что «все формы религии одинаково хороши» и что нынешнее человечество очень далеко от подлинной духовности. Под псевдонимом скрывался Уильям Уолкер Аткинсон, врач и юрист из Пенсильвании, увлеченный теософией и Индией. Цикл его популярных книг перед Первой мировой войной в русском переводе выпустило издательство «Новый человек»: «Религии и тайные учения Востока», «Хатхайога», «Наука о дыхании индийских йогов». Эти книги попали к Даниилу вряд ли случайно. «…К Хатхайоге я отнесся легкомысленно, – сообщал Андреев много лет занимавшемуся дыхательной гимнастикой йогов по Рамачараке однокамернику Шульгину, – во-первых, потому, что был очень молод и здоров, а во-вторых, – у меня в характере нет некоторых свойств, необходимых для планомерных, ежедневных занятий какими бы

то ни было упражнениями – физическими или психическими». Но «Основы мировоззрения индийских йогов» определили многие его взгляды. Мечты о прорыве к космическому сознанию, о котором говорил Рамачарака, теория перевоплощений, мысли о том, что человечество в своем развитии должно достичь подлинной религиозной духовности, когда у всех появится чувство «реальности существования высшей силы» и вырастет «сознание братства всего человечества», и еще ряд идей, почерпнутых у «индийских йогов», сделались его собственными.

«В сочинениях древних философов всех народов, в стихотворениях великих поэтов всех стран, в проповедях пророков всех религий и времен мы можем найти следы нисходившего на них просветления – раскрытия духовного сознания»[80], – писал теософ Рамачарака, и Андреев стал искать и находить эти следы повсюду. И, конечно, из этих слов, как из неслучайного зернышка, выросла его теория вестничества.

«Только в случайные драгоценные моменты мы сознаем в себе существование духа и в такие моменты чувствуем, что стоим перед страшным лицом Неизвестного. Такие моменты могут приходить, когда человек погружен в глубокое религиозное созерцание или когда отдается произведению поэта, несущего весть от души к душе…»[81] Прочтя эти утверждения, Андреев стал прислушиваться к собственным состояниям.

Аткинсон-Рамачарака на первой же странице предупре-

ждал, что «идеи предлагаемой читателям книги изложены на языке западной теософии и спиритуализма»[82], и, конечно, теософский след в воззрениях его русского читателя остался. Но теософом Даниил Андреев все-таки не стал.

# 11. Два Кремля

Тогдашняя московская жизнь была трудной и тревожной у всех, не только у Добровых. Вот добровские портреты из письма близкой и давней знакомой семьи – Надежды Сергеевны Бутовой Малахиевой-Мирович 15 апреля 1920 года:

«Вчера была Елизавета Михайловна Доброва. Принесла: хлеба, масла, сахару, яиц… Они все такие же: от своего рта кусок отнимут, другому отдадут. Она стала еще пламеннее в доброте. А он суров, одинок, желт, сосредоточен (в свободные минутки), в книжке написал Дане 7 стихотворений прекрасных: элегичное, лиричное, трагичное, пышно-торжественное, прозрачно летящее, звонкое и тихое-тихое. Сочинял их по дороге в больницу пешком, зимой, по сугробам, в рваных сапогах и калошах. У него долго были длинные волосы, как у посвященного Иерея, и бороденка жиденькая, длинноволосенькая, и ватные штаны. Но теперь стал более элегантен! Саша хороший, мягкий, но полузаглубленный. М<ожет> б<ыть>, честность его еще и выправит. Инстинкт в нем есть, и здоровый: религиозен, любит книжку, любит искусство. Даниил – чудесный юноша: пишет стихи, пишет рассказы, пишет историю и географию своей планеты и рисует ее карты, портреты королей и вождей. Накрывает на стол, рвет обувь невероятной беготней и из всех блуз и штанов вылезает вон! Нежен к маме Лиле. Поклоняется дя-

де, дружит с Сашей и со всеми: но самостоятелен и супротивник старшим закоренелый. В творчестве еще виден родственник отцу: размах и сильные слова, а выдержка и почва под словами не всегда-то есть. Растения добровские почти все погибли. Да и у всех, положим, они поумирали. Кошек и собак, как и лошадей, в городе очень мало осталось»[83].

Филипп Александрович много работал, пытаясь прокормить большую, плохо приспосабливавшуюся к новой жизни семью. Он даже занялся приготовлением лечебных дрожжей: нэп. Они стали пользоваться спросом и так и назывались – «дрожжи доктора Доброва». Участвовал в этом и Даниил: молол на кофейной мельнице ячмень, разносил заказанные дрожжи по Москве. До родственников донеслось: «Даня торгует дрожжами». Наталья Андреева писала из Финляндии его возмущенной тетке, Римме Николаевне: «Я вполне с тобой согласна. Это ужасно и позорно. <…> Это сын Леонида Андреева»[84]. Но и доктор занимался не только лечением больных, а по-прежнему, несмотря на холод в доме (не выше плюс шести), от которого стыли руки, садился за рояль, читал латинские поэмы, сочинял стихи. И сын Леонида Андреева жил творчеством. «Даня читает Бранда и рисует какие-то идиллические усадьбы, дома с колоннами, фонтаны, аллеи. Он закончил “Закат Атлантиды” – роман в трех частях. У него тонкое, истонченное лицо, со следами напряженной работы мысли»[85], – писала Малахиева-Мирович Бессарабовой

перед Рождеством 1921 года. А в стихах «Рождественского посвящения» предвосхищала четырнадцатилетнему Даниилу: «В истории есть твое имя / А в сердце храню я твой след»[86].

«Напряженная работа мысли» принимала неожиданные формы. Вместе с одноклассником Юрием Ордынским (ему Даниил в третьем классе выставил четыре с плюсом) было задумано покушение на Троцкого! В Кремль они собирались проникнуть через одноклассницу Марию Курскую, дочь наркома юстиции.

Тяжело начался 1921 год. В январе, то оттепельном, то студеном и метельном, умерла дорогая всем Добровым Бутова, актриса МХТ. Еще прошлой весной Филипп Александрович настоятельно советовал ей уехать на юг. Но пути туда были отрезаны. В 1909-м она играла Суру в нашумевшей «Анатэме» Леонида Андреева, в 1913-м – мать Ставрогина в спектакле по «Бесам» Достоевского. У нее, занимаясь в драматической студии, брала уроки Шура Доброва.

Бутову называли актрисой-монахиней. Высокая, чаще всего в темном платье, сосредоточенная, внутренне строгая. Становясь старше, она делалась все религиознее. Ее квартира в изукрашенном майоликой доме Перцова напротив храма Христа Спасителя казалась и монашеским затвором, и артистической студией, где киот с образами соседствовал с книгами и живописью на стенах. Борис Зайцев, сравнивавший Бутову с боярыней Морозовой, писал, что «правосла-

вие у ней было страстным, прямым, аскетическим, мученическим»[87]. И смерть ее была христиански жертвенной. Взявшись сопровождать в Крым заболевшую скоротечной чахоткой приятельницу-актрису, самоотверженно за ней ухаживая, заразилась сама. Дружеские, хотя и сложные отношения связывали с Бутовой Малахиеву-Мирович. Бутову долгие годы лечил доктор Добров. Но особенно близка она была его жене.

После попытки лечения за границей Бутова поселилась в Успенском переулке, в квартире в особнячке с усадебным садом, переходившим в сад Страстного девичьего монастыря. Здесь, в мезонине над ее комнатами, жили Алла Тарасова, Малахиева-Мирович и одно время Ольга Бессарабова. Сюда к ней заходил Добров, «суровый врач» и давний друг, здесь она умерла. Отпевал Бутову ее духовник, известный на Москве батюшка Алексей Мечёв. В храме Святого Николая в Кленниках на Маросейке бывал и Даниил, известно, что дважды он причащался у отца Алексея, а потом приходил к его сыну – отцу Сергию. Вполне возможно, что посещение отроком Даниилом Оптинской обители, о котором упоминал его друг Василенко, и состоялось в те годы общения с благодатным батюшкой.

Даниил Андреев вспоминал Надежду Сергеевну всю жизнь. Говорил, что это она открыла ему красоту и глубину православной церковности. В актрисе-монахине он видел сплав страстного служения искусству и глубокой религиоз-

ности, определявший для него «человека облагороженного образа».

Продолжалась Гражданская война, а обыватели, как могли, сражались за существование. Трудно в доме приходилось всем. «Шура очень похудела, побледнела, углубляется в терпении, но порою не выдерживает. Красивые руки ее огрубели от сора, углей, холода и всякой грубой работы. Жизнь ее – сплошь черная работа – топка печей в квартире и еще помощь Елизавете Михайловне. Эсфирь больна, все больнее. Она обрилась (от нарывов)»[88]. Главные тяготы ложились на жену доктора, мучившуюся сердечными припадками. Малахиева-Мирович писала 7 февраля 1921 года Бессарабовой: «Вчера было рождение Елизаветы Михайловны. Она месила тесто в холодной, прокопченной крысиной кухне, плакала и сбегала потом в церковь, ее единое прибежище»[89]. А сидящих за большим добровским столом не убавлялось. Другая жилица дома называла ее героическим, измученным и прекрасным человеком. В своем всегдашнем длинном платье, делавшем Елизавету Михайловну еще выше, в вязаной шапочке она действительно выглядела болезненно усталой. «Вся ее жизнь сейчас – постоянная, напряженная, без отдыха и срока работа, ухаживание за Сашей, который всю зиму болеет. <…> Ухаживание и тревога за Даню, который тоже болеет непрерывно, борьба с хаотическим духом Филиппа Александровича и всего дома, борьба со стихийными бедствиями, которые валятся одно за другим: порча водопрово-

да, канализации, обвал потолка, несколько раз за зиму потоп в кухне, порча плиты, отсутствие дров…»[90]

В эту зиму Даниил подружился с Ариадной Скрябиной, как и он, захваченной сочинительством. У Добровых несколько раз состоялись их совместные чтения. Ариадна была старше его на год, писала не только стихи, но и рассказы и пьесы. В прошлом году сочинила «Великую Мистерию», найдя и слушателей, и последователей, большей частью школьных подруг. Ее заветная мысль: пострадать, умереть за русский народ. «Великую Мистерию» она задумала поставить на Красной площади и завершить представление самосожжением актеров – протестом против «страданий человечества». «Хочет пойти к патриарху, чтобы он благословил ее на эту мистерию и смерть, добровольную жертву и искупление за все зло и весь ужас, который царствует в мире, в России, на Поволжье – всюду»[91]. Стихи она опубликовала в 1924 году в Париже. В них эти настроения:

Смерть смертию поправ – жива,
Как мудрый змей меняя кожу,
Победоносная Москва!
А я – лежу на смертном ложе!

Стихи в доме звучали часто, кроме Даниила их писали и дядюшка, и Арсений, чуть было не издавший их в Нижнем Новгороде под названием «Простые стихи», и Эсфирь.

Есть свидетельства, что в те времена, в начале 1920-х, в доме Добровых появлялся Маяковский, бывала Марина Цветаева. По крайней мере, Борис Бессарабов, прообраз героя поэмы Цветаевой «Егорушка», познакомился с ней (1 января 1921 года) именно у Добровых. Он вспоминал, что в один из вечеров в комнате Шурочки увидел гостей: «Владимир Маяковский… около него пристроилась Лиля Брик, с которой я встречал его на улицах Москвы, Марина Цветаева. Тут же была очень милая темноглазая маленькая Татьяна Федоровна Скрябина…»[92] И соседка Добровых, учительница литературы Межибовская, рассказывала, что видела Маяковского в коридоре их квартиры, где он разговаривал с незнакомым ей мужчиной. Тот якобы сказал поэту: «Ну и сволочь же ты, Володя». Маяковский ответил: «Все мы немного сволочи».

Другая жительница дома вспоминала, что его «второй этаж до революции занимал генерал Чернов, а потом он с семьей эмигрировал. Этаж “захватили” синеблузники во главе с Маяковским. Потом их оттуда “попросили”, и этаж начали заселять…»[93]. Так что Маяковский бывал здесь не случайно.

В первые дни августа 1921 года в Москве шли дожди, потом стало сухо и знойно. В Поволжье начинался голод, для помощи голодающим был объявлен сбор пожертвований. В Москву с помощью собирался приехать Нансен. В Китае произошло ужасное землетрясение, погибло 200 тысяч человек. Страшные вести приходили из Петрограда. Умер Блок. Раскрыт заговор против советской власти профессора

Таганцева, офицеров Шведова и Германа. Газеты сообщали, что «участники заговора понесли заслуженное наказание». Среди расстрелянных – Николай Гумилев.

В этом августе Даниил пережил состояние, похожее на то, о котором читал у Рамачараки, – состояние прорыва духовного сознания, поначалу недостаточно осмысленное. Позже счел его первым соприкосновением с иноматериальной реальностью. Он писал о нем в «Розе Мира»:

«Первое событие этого рода, сыгравшее в развитии моего внутреннего мира огромную, во многом даже определяющую роль, произошло в августе 1921 года, когда мне не исполнилось еще пятнадцати лет. Это случилось в Москве, на исходе дня, когда я, очень полюбивший к тому времени бесцельно бродить по улицам и беспредметно мечтать, остановился у парапета в одном из скверов, окружавших храм Христа Спасителя… бытие… открыло передо мной или, вернее, надо мной такой бушующий, ослепляющий, непостижимый мир, охватывающий историческую действительность России в странном единстве с чем-то несоразмеримо б*о*льшим над ней, что много лет я внутренне питался образами и идеями, постепенно наплывавшими оттуда в круг сознания».

О том, как он бродил по московским переулкам, любуясь пятиглавиями, заходя в храмы, глядя на «теплящиеся огни православия», о настроении того лета сказано в стихах:

Это – душа, на восходе лет,

Еще целокупная, как природа,
Шепчет непримиримое «нет»
Богоотступничеству народа.

И о своем первом видении Небесного Кремля в час светло-розового предвечерья, когда, облокотившись на мшистый парапет, увидел сквозь трепет березовой листвы нечто скрытое, ощутил подхватывающий его вихрь:

Я слышал, как цветут поверия
Под сводом теремов дремучих
И как поет в крылатых тучах
Серебролитный звон церквей,
Как из-под грузных плит империи
Дух воли свищет пламенами
И развевает их над нами
Злой азиатский суховей.

Рядом с храмом Христа Спасителя, со стороны Пречистенки, где еще торчал пустой пьедестал памятника Александру III, был один скверик, напротив – другой. Здесь он бывал множество раз, еще с няней. Вокруг храма стояли скамейки, поодаль в белесом песке играли дети.

Наверное, после этого озарения, в котором присутствовал и сам храм, и Кремль с «крестами, башнями, шатрами», ему стали видеться архитектурные ансамбли, «великие очаги» религиозной культуры грядущего, о чем он писал в «Ро-

зе Мира»:

«Мне было едва 15 лет, когда эти образы стали возникать передо мной впервые, а год спустя я уже пытался запечатлеть их при помощи карандаша. Я не стал ни художником, ни архитектором. Но образы этих ансамблей, их экстерьеры и интерьеры, такие величественные, что их хотелось сравнить с горными цепями из белого и розового мрамора, увенчанными коронами из золотых гребней и утопающими своим подножием в цветущих садах и лесах, становились определеннее от одного десятилетия моей жизни к другому».

Росший в доме, где бывало много художников, любивший рисовать, он скептически относился к своим художническим способностям. Его брат, Александр Добров, окончил архитектурный факультет ВХУТЕМАСа. Архитектором стал школьный друг Алексей Шелякин. И Даниил увлекался архитектурой, мальчишкой собирал коллекцию открыток с видами городов. Но архитектору необходимо знать недающуюся математику. Интерес и любовь к архитектуре отозвались в нем воображаемыми проектами храмов Солнца Мира и мистериалов, верградами времен Розы Мира.

# 12. КИС

Весной 1923-го Даниил написал брату в Берлин, где поначалу оказалась осиротевшая семья Андреевых. «Очень трогательно пишет: милый мой братец. Как видно, он одинок, про Добровых ни звука, и нуждается ли <в> чем, тоже ни слова. Прислал свои стихи очень недурные»[94] – такое впечатление осталось от письма у его тетки Натальи Матвеевны.

Это был возраст первых воспаленных вдохновений, приступов одиночества. Несмотря на семейное тепло и пламенные школьные дружбы. В последнем классе, в 9-й группе, образовался кружок, который они назвали КИС – кружок исключительно симпатичных.

В письме больному Даниилу Андрееву, поздравляя с наступавшим 1959 годом, Оловянишникова вспоминала:

«А помнишь ли нашу традиционную ромовую бабу, первый и последний вальсы? Помнишь наш клюквенный морс (невероятно кислый), который мы приготовили вместо вина, забыв о том, что оно полагается, когда встречали Новый год в гимназии? Помнишь, все учителя пришли вовремя, а Нина Васильевна опоздала? И как под утро выбегали на улицу и поздравляли прохожих с Новым годом? А у Нэлли наши встречи… Родной мой, вся, вся ведь жизнь связана с тобой… И спасибо тебе за то, что ты был со мной, “освещал” (по выражению Киры Щербачева) ее».

И в следующем ее письме, 3 января 1959-го:

«Сегодня просматривала фотографии, и попалась наша Кисовская группа. Ты там хорош (это мы снимались в период нашего “увлечения” живым кино. “Граф Магон – товарный вагон”), я тоже не плохо, только немного сумасшедший взгляд; но остальные вышли жутко. Помнишь, когда мы рассматривали эту карточку, то увидали заплаты на Борисовом локте; и решили, что впечатление, что Ада держит на веревочке Галин ботинок».

Кинопьесу сочинил Даниил. Они разыграли ее в добровском зале с аркой, еще не поделенном на комнатки. На фотографии Даниил с моноклем в глазу, в бабочке и цилиндре, с кошкой в руках.

Позже увидевшая тот же снимок Малахиева-Мирович строго оценила участников представления, особенно его «голубую звезду» Галю Р., не отвечавшую «ни да, ни нет на романтическое чувство Даниила. Правильное, маловыразительное, банально-женственное личико, – записала она в дневнике. – И все лица по сравнению с лицом Даниила в нелепом цилиндре, с инфернальными гримасами (играл злодея) плоски и бледны. Его ужимки, позы – шарж и мелодрама, и все-таки при первом взгляде на фотографию, где он среди других фигур, невольно остановишься на нем, как на чем-то значительном и тревожном, мимо чего нельзя пройти без вопроса: кто это?»[95].

Еще из тех же писем Оловянишниковой: «Данька, род-

ной, помнишь, как в Кисовские времена шли мы компанией куда-то (по Спиридоновке) и ты, по пути, захлопывал все открытые форточки?..» Она же вспоминала о работе в «Решетихино», за Подольском, рядом со станцией Столбовая. В те годы, чтобы как-то выжить, «бывшие» устроили в имении сельхозартель. Взрослым помогали подростки. Выглядели эти попытки городских интеллигентов «осесть на землю» жалко: «Коров выгоняли в семь утра, вечером же их с трудом загоняли обратно, для чего все члены артели становились шеренгой, сквозь которую прогоняли коров в скотный двор; иногда же задняя дверь оставалась открытой, животные тут же через нее выходили, и вся церемония возобновлялась заново»[96]. Даниил, чувствуя себя на свободе, баловался, смеялся. Измученным взрослым было не до смеха.

Дружба кисовцев сохранилась навсегда. Одним из самых близких друзей был Юрий Попов: «Веселый мальчик в белом свитере».

День окончания школы – 19 июня 1923 года. Выпускники продолжали называть школу гимназией. В стихотворении «Вальс», посвященном ее окончанию, он писал:

Здравствуй, грядущее! К радости, к мужеству
Слышим твой плещущий зов!
Кружится, кружится, кружится, кружится
Медленный вихрь лепестков.

Знавшие Даниила Андреева долго и близко, вспоминали о его шутках, проказах, выдумках. Рассказывая о них, он никогда себя не выгораживал.

«По случаю окончания школы устраивалась вечеринка. Каждый должен был принести из дому на этот вечер какую-нибудь посуду. Даня вызвался принести вазочку для варенья, а так как вазочка была, видимо, довольно ценная, то дали ее ему только с условием, что он вернет ее обратно в целости и сохранности, что он и пообещал.

Возвращаясь вечером домой, он завязал ее в салфетку и, о чем-то раздумывая, помахивал этим узелком. Вдруг при очередном взмахе узелок задел за фонарный столб, и – о, ужас! – вазочка разбита! Что теперь делать? Как смягчить обиду и возмущение мамы? И Даня придумывает весьма хитроумный психологический план. Кухня в их квартире была в полуподвальном помещении, и в нее вела довольно длинная и крутая лестница. Когда Даня вернулся, мама и еще какие-то женщины были внизу. Даня появляется на верху лестницы, поднимает руку с узелком и с восклицанием: “Вот она, ваша вазочка!” – сбегает до половины лестницы, затем грохается и с остальных ступеней съезжает уже на спине… Все кидаются к нему:

– Боже мой! Данечка! Не расшибся ли? Не сломал ли ногу или руку?

Нет, цел, ничего не сломал. А то, что разбита вазочка, это уже пустяки.

Слава Богу, что сам-то не разбился! Все это Даня рассказывал так живо, с жестами, мимикой и различными интонациями всех восклицаний, что я запомнила эту сценку, как бы сыгранную талантливым актером»[97].

После выпускного вечера кисовцы решили поехать на Сенёжское озеро. На дачу к однокласснице Нелли Леоновой. Именьице Леоновых находилось в шести километрах от Сенёжа в Осинках. Деревня Осинки недалеко от блоковского Шахматова. Друзья бегали на озеро, помогали заготавливать сено, играли в крокет. Поездка в сентябре 1923 года ознаменована эпосом – «Осиниадой», шуточной поэмой в шести главах. Поэму написали Даниил и Ада Магидсон, «два титана» кисовцев, так они названы в другом сочинении тех лет – «Победа острящих». «Осиниада» начиналась с описания приезда:

Порой веселой сентября,
Желаньем шалостей горя,
Три восхитительные рожи
Помчались к берегам Сенёжа.
Кирилл, Данюша и Елена…

(Есть вариант: Некрасов, Даня и Елена). Кирилл Щербачев, Даниил Андреев и Елена Леонова (или, как все ее звали, Нэлли, «прелестная, как ветки ели») были первыми, затем к ним присоединились четыре кисовки – Тамара, ее фамилии мы не знаем, Лиза Сон, Ада Магидсон и Галя Русакова

и – тем же вечером – Юрий Попов и Борис Егоров. «Теперь здесь был почти весь “Кис”», – говорится в поэме.

Ночевали на сеновале – девочки направо, мальчики налево. Даниил спал, натянув на голову простыню, которую, смеясь, назвали его чепчиком. Погода не задалась, дождило (на редкость дождливым оказалось все лето 1923 года), но они веселились. Острили, обмениваясь рифмованными репликами. Это был «кисовский» стиль. Вот одна из сцен их времяпрепровождения, описанная, возможно, не без участия Даниила, в сочинении в пятнадцати главах с эпилогом «Победа острящих».

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.